

Михаил Байтальский



ТЕТРАДИ ДЛЯ ВНУКОВ

Михаил Байтальский
Тетради для внуков

«Книга-Сэфер»

Байтальский М.

Тетради для внуков / М. Байтальский — «Книга-Сэфер»,

Предлагаемая вниманию читателя книга мемуаров, хоть и написана давно — никогда не выходила на русском языке полным изданием. Лишь отдельные главы публиковались незадолго до смерти автора в русскоязычных журналах Израиля «Время и мы» и «22». Михаил Давыдович Байтальский родился в 1903 году, умер в 1978. Его жизнь пришлась на самую жестокую эпоху едва ли не в мировой истории, а уж в истории России (от Московского царства до РФ) наверняка. Людям надо знать историю страны, в которой они живут, таково наше убеждение. Сегодняшняя власть тщательно ретуширует прошлое — эта книга воспоминаний настаивает на том, что замалчивание и «причёсывание» фактов является тупиковым развитием общественного сознания и общества в целом. Публикацией этих мемуаров мы рады восстановить хотя бы отдельные страницы подлинной истории многострадальной страны и облик затенённой, пускай и нелицеприятной истины. Текст мемуаров снабжён примечаниями. Сам М.Байтальский не придавал тому значения, но издание на английском языке нуждалось в комментариях. В нашей версии за основу взяты примечания к «Тетрадам», вышедшем в американском издательстве New Jersey, Humanities Press International, Inc.; 1995. С некоторыми уточнениями и дополнениями. Читателю всё же рекомендуется в случае необходимости обращаться к надёжным сетевым источникам информации.

© Байтальский М.

© Книга-Сэфер

Содержание

От издательства	5
Тетрадь первая	6
Вступление	6
1. Комсомольское крещение	8
2. Наш монастырь святого Иакова	12
3. Были ли мы интеллигентны?	17
4. Мера человеческих поступков	19
5. Чувства главные и второстепенные	24
6. Мужья и жены в комсомоле	29
7. Немного о словечках эпохи	32
Тетрадь вторая	35
8. Было – и стало	35
9. Семья одесского портного	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Михаил Байтальский
Тетради для внуков. Воспоминания
бывшего троцкиста
1917 – 1976

От издательства

Предлагаемая вниманию читателя книга мемуаров, хоть и написана давно – никогда не выходила на русском языке полным изданием. Лишь отдельные главы публиковались незадолго до смерти автора в русскоязычных журналах Израиля «Время и мы» и «22».

Михаил Давыдович Байтальский родился в 1903 году, умер в 1978. Его жизнь пришлась на самую жестокую эпоху едва ли не в мировой истории, а уж в истории России (от Московского царства до РФ) наверняка. Людям надо знать историю страны, в которой они живут, таково наше убеждение. Сегодняшняя власть тщательно ретуширует прошлое – эта книга воспоминаний настаивает на том, что замалчивание и «причёсывание» фактов является тупиковым развитием общественного сознания и общества в целом. Публикацией этих мемуаров мы рады восстановить хотя бы отдельные страницы подлинной истории многострадальной страны и облик затенённой, пускай и нелюбимой истины.

Текст мемуаров снабжён примечаниями. Сам М.Байтальский не придавал тому значения, но издание на английском языке нуждалось в комментариях. В нашей версии за основу взяты примечания к «Тетрадам», вышедшем в американском издательстве New Jersey, Humanities Press International, Inc.; 1995. С некоторыми уточнениями и дополнениями. Читателю всё же рекомендуется в случае необходимости обращаться к надёжным сетевым источникам информации.

Тетрадь первая

Вступление

Вот уже тридцать лет кровоточит в моей душе воспоминание о воркутинском расстреле. Расстрел был массовый. Приговор, вынесенный местной "тройкой" НКВД, утверждался в Москве по списку. Сколько было в том списке жертв, и поныне остается тайной, схороненной в архивах. Приблизительно – девятьсот. А может, и больше.

Фамилии ста пятидесяти из них товарищи впоследствии восстановили по памяти. Со многими из них я был знаком по архангельской пересыльной тюрьме и по воркутинским лагерным баракам, в которых мы жили вместе зимой 1936-37 года за год до расстрелов. Трое из казненных – Липензон, Крайний, Максимчик¹ – были моими друзьями по одесскому комсомолу. А еще один – Григорий Баглюк² – был моим близким, моим любимым другом все последние тринадцать лет своей жизни – продолжалась же она всего тридцать три года.

Не только приговор был утвержден списком, но и сами расстрелы проводились целыми партиями, по пятьдесят человек в каждой.

Невиновность казненных установлена через два десятилетия. Она перед всем миром подтверждена тем, что само государство, чьим именем выносился смертный приговор, реабилитировало их посмертно. И обвинительный акт против них обернулся обвинением общества, в котором оказалось возможным такое массовое средневековое злодеяние. Поэтому, восстановив гражданскую честь погибших посмертно, их поторопились забыть, ибо обществу неприятно помнить имена, в которых оно слышит суровый и вечный укор себе.

Единственный честный ответ на этот молчаливый укор – раскрыть запытанное, придать гласности всю деятельность тайных судилищ. Скрывать ее – значит покрывать инквизиторов. Ни одно из последующих поколений не может отмыть руки от крови расстрелянных, пока оно не займется расследованием дел инквизиции, выносившей массовые приговоры.

В конце прошлого и начале нынешнего века целая страна, а за нею и лучшие люди всей Европы несколько лет подряд будоражили мир из-за несправедного приговора, вынесенного одному только человеку – Дрейфусу. А в нашей социалистической стране почти в середине этого высокогуманного века выносились приговоры по сходному и не менее ложному обвинению. Но – приговоры куда более жестокие, вплоть до смертной казни. И было таких приговоров не один, и не сто, и не тысяча. А сотни и сотни тысяч. Однако никто не взволновался. Никто! Все совершалось при полном молчании общества, хоть и знали о каждом аресте и соседи, и товарищи по работе, и просто знакомые, так что число знавших было во много раз больше числа арестованных, – а арестованные исчислялись миллионами. Единственное, что волновало знавших – это тревога о себе: не придут ли сегодня ночью и за мной? И конечно же, каждый, ожидавший ареста, твердо знал о себе, что он ни в чем не виновен, – тем самым он признавал невинность других, арестованных ранее.

Но даже себе он боялся это сказать, ожидая ареста. Никто не отваживался не то, что заняться делом арестованного, как занялся Золя делом Дрейфуса,³ но хотя бы спросить на

¹ В.Крайний – один из создателей одесского комсомола, участник двух подпольев во время "Центральной Рады" и Деникина. См. "В двух подпольях", М., "Детская литература", 1970, стр. 12. А.Максимов (Максимчик) – член одесского подпольного комитета комсомола. Там же, стр. 27:

² Г.Баглюк (1904–1938) – поэт и журналист. Редактор литературного журнала "Забой", выходившего в Донбассе в конце 20-х годов. Реабилитирован в эпоху "позднего реабилитанса" (вторая половина 50-х годов).

³ А.Дрейфус (1859–1935) – капитан французской армии, еврей, ложно обвиненный в шпионаже в пользу Германии в 1894 году и приговоренный к пожизненному заключению. В результате длительной борьбы дрейфусаров во главе с Э.Золя

собрании тех, кто кричал: "распять его!", – а не надо ли хоть мало-мальски разобраться – за что распинать-то? Нет, и распинали, и гвозди подносили молча.

Только жены да матери носили передачи тем, кто ждал распятия. Жены и матери оказались лучшей частью общества молчаливых.

В те годы людьми двигал страх – самое элементарное из чувств. Он привел миллионы людей к духовному крушению и внутренней нищете.

Прошли десятилетия. Сейчас в людях говорит уже не страх в его оголенном рефлексивном виде, как в 37 году. Наступило время разума. Но оказалось, что страх-37 имеет изотопы. Изотопы страха-37 оказывают действие на другие стороны человеческого организма. Подсознательная защитная реакция организма все та же – отстраниться, сжаться в комочек, прикрыться рукой, но реакция сознания, вырабатываемая новым изотопом – иная. Уже не слабостью своей перед грозной машиной государства, не покорностью перед Исторической Необходимостью оправдывает себя поколение, не испытывавшее страха-37, а самоновейшим просвещенным научным трезвым здравым смыслом: тсс, тише, ибо шуметь некультурно; зачем интересоваться лагерями трудового перевоспитания – ведь туристский лагерь интереснее; не будем вмешиваться не в свое дело – все равно ничего не изменится; займемся лучше другими, более приятными делами: спортом, искусством и наукой – нельзя же быть ограниченным человеком; здравый смысл прежде всего – поэтому давайте забудем.

Вот и получается: одни и те же события заставляют некоторых обращаться к своей памяти, а других – отрицать пользу именно этой памяти. Ну что ж, великий русский поэт некогда сказал:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего...

На какое-то недолгое время люди, казалось, встряхнулись. Они жадно слушали закрытое и с тех пор исчезнувшее письмо с речью Хрущева на XX съезде. Сейчас любой желающий может заявить, что и письма такого не было, и 37-го года не было. А нас, переживших тридцатые годы, осталось мало.

Свидетельское слово есть наше главное дело – мы просто не имеем права унести в небытие то, что знаем. Но мы не только свидетели, – мы и участники событий, и мы стоим перед судом внуков так же, как стоит перед ним Сталин со своими сообщниками и последователями. Устами неосталинистов он продолжает оправдываться и затыкать рот нам, свидетелям обвинения. Можем ли мы рассказывать только о механизме беззакония и страха, не раскрывая секретов синхронно связанного с ним механизма лжи и исторических подделок?

Вот почему я не могу ограничиться одной лишь записью того, что пережил, видел и слышал, а вынужден записать и немного из того, что передумал, сталкиваясь со всеми подделками, на которые так ловок сталинизм, готовый к фальшивкам в любой области, – от истории до экономики, правосудия и биологической науки. Я обязан был написать и сохранить для внуков эти тетради.

1. Комсомольское крещение

В феврале двадцатого года одесский комсомол вышел из деникинского подполья. В марте в глухой уездный город Ананьев прибыл посланец губкома комсомола. Был он маленького роста, чернявый и живой. Его звали Коля Чудновский. В актовом зале женской гимназии состоялось собрание рабочей и учащейся молодежи города. Ананьевская организация комсомола родилась.

Молодых рабочих в ней было немного в Ананьеве, захолустном городишке, всей-то промышленности было полдюжины мельниц и маслобоек. Железная дорога проходила в пятидесяти верстах.

Кругом, в лесах и селах, во всех углах и на всех дорогах еще продолжалась гражданская война. Молодая организация вскоре получила боевое крещение.

Под городом вспыхнуло восстание. Между Ананьевом и Балтой было несколько богатых сел. Центром восстания стало село Пасицелы. Там, говорили, укрылся отряд белых офицеров. Какой-то кулацкий батька привел из балтских лесов свой конный отряд. У восставших имелась даже пушка-трехдюймовка. Партийную и комсомольскую организацию города перевели на казарменное положение. Нам роздали оружие. Взяв винтовку, я обнаружил, что до мушки еще не дорос.

Гарнизон города состоял из одного взвода красноармейцев. Вместе с коммунистами и комсомольцами составилась маленький отряд. Его именовали сводной коммунистической ротой. Мы двинулись против Пасицел.

Утром, лежа в цепи на свежевспаханном поле, я увидел командира. Высокий молодой парень, при шашке и с наганом в руке, он крупно шагал, не кланяясь пулям, и повторял:

– Товарищи, зря патронов не расходуйте!

Когда он подошел поближе, я узнал Ваню Недолуженко – мы с ним вместе учились до революции в сельской двухклассной школе моего родного местечка Черново. Он был старше меня года на три-четыре, успел уже побывать на германском фронте и там стал большевиком.

Не спросил я его, где его школьные друзья, кулацкие сынки Серочан и Шерстюк, – в петлюровцах или в белых? Росли мальчишки, играли вместе на школьном дворе, а когда выросли, словно чья-то острая шашка разделила их...

Свистнула острая шашка, и я вслед за Ваней Недолуженко бегу с криком "ура" на восставшее село, на кулацких сынков, и мы достигаем первых хат и влетаем в широкую улицу. Бабы укрываются в погребах, мужчины прячутся на чердаках с винтовками, а мы летим вперед и вперед...

Мы шли в атаку. Моими соседями оказались: с одного боку незнакомый красноармеец, обросший черной щетиной, с другого – гимназист, такой же, как я. Нас, необстрелянных птенцов, не ставили всех в один ряд, а разбавляли бывалыми солдатами, чтобы те на ходу учили нас.

Невдалеке от меня ранило Сему Когана. Сема был мой гимназический дружок, тихий-претихий мальчик в железных очках с толстыми стеклами, первый ученик в нашем классе. Что он, полуслепой, делал в цепи? Но мог ли он позволить себе не идти в цепь на таком пустяковом основании, как очки? Он не умел попасть в цель, зато мог быть мишенью вместо товарища. Сема честно выполнил свой долг.

Между тем, к повстанцам присоединился какой-то "зеленый" отряд, прибавилось кавалерии. "Зелеными" тогда называли себя разные кулацкие повстанцы, подчеркивая, что они не красные, но и не белые. А нас была горсть, и мы не имели даже пулемета. Назавтра снова был бой. Из него вышло меньше половины нашего отряда. Мишку Патлиса, моего хорошего товарища, я не видел после боя. Его не нашли и среди убитых. Какая нужна невероятная жизненная сила, чтобы с разрубленной почти надвое головой, истекая кровью, ползти, терять сознание

и, придя в себя вновь упорно ползти – и добраться до своих! Мишка приполз к следующему утру. Наши санитарки, комсомолки, такие же молоденькие, как мы, перевязывали Мишку и плакали, плакали...

Когда я вижу плачущую женщину, мне становится не по себе. Только раз я остался равнодушным к женским слезам. То были всего две скупые слезинки моей матери. Все эти дни она не знала, где я. Конечно, я не снисходил до того, чтобы писать письма родителям. Но когда до местечка дошли слухи о большом сражении под Балтой, мама поняла, где искать пропавшего сына.

Была ранняя весна, распутица. О поездке в телеге по раскисшим проселочным дорогам нечего было и думать. Мама достала у знакомых коня. Отец не смог ее удержать. В местечке Черново наверно не видели еще еврейскую женщину верхом, да и в Ананьеве тоже. Вся облепленная грязью, мама ехала, расспрашивала – и добралась-таки до того леса, где совсем недавно лежал, сжимая винтовку, ее мальчик, ее глупый, бестолковый сын. Разумеется, его там уже не было. Да и не приходило ему в голову, что мама сходит с ума от горя. Станный, ненормальный сын!

Может, мы и в самом деле были глухи и глупы, если стыдились сыновних чувств, думая, что они повредят нашей борьбе за дело пролетариев всех стран – особенно, когда мама непролетарская.

Маму я увидел, когда прибыл в санитарной летучке в Одессу после ликвидации восстания. Она не бросилась мне на шею, не облила меня слезами. Долгим взглядом своих прекрасных глаз смотрела она на меня. Я не выдержал и от смущения сказал какую-то глупость...

И тогда по маминым щекам покатились две слезы...

Я вернулся в Ананьев полный комсомольского, как тогда говорили, задора. В качестве инструктора уездного комитета я ездил и ходил по селам – чаще ходил, чем ездил. Нас посылали по двое. В рваных ботинках, которые мы обычно снимали, чтобы легче было идти, с винтовкой за плечами шагали мы от села к селу. В карманах у нас лежали мандаты укома. В нашей части уезда, поближе к Одессе, еще в екатерининские времена, возникли многочисленные немецкие колонии. По наружному виду они резко отличались от окрестных сел. Улицы не утопали в грязи, а были вымощены булыжником. Большие дома краснели черепичными крышами. В каждом дворе под навесами полно машин: косилки, сеялки, веялки.

Мы рискнули отправиться в немецкие колонии. Во дворе сельсовета, где председатель созвал митинг (не раньше, чем прочитал наши мандаты), толпились только парни – девушек родители не пустили. Кроме сыновей, явилось несколько хмурых фатеров. Чтобы меня лучше поняли, я примешивал к русской речи десяток ломаных фраз на полужидево-полонемецком самодельном наречии (немецкому нас учили в гимназии). В комсомол не записался никто. Видимо, фатеры заранее показали сыновьям добрый кнут. Когда мы выходили из села, вслед нам хлопнул выстрел.

* * *

Помню, как мы хоронили товарищей, погибших от рук бандитов в Савранском лесу. В Савранской и соседних с ней волостях вблизи Балты и после ликвидации восстания скрывались остатки зеленых банд. Ехать на продразверстку⁴ в Савранскую волость, одно время значило ехать почти на верную смерть. Но не было случая, чтобы комсомолец отказался. Когда я читаю "Думу про Опанаса" Эдуарда Багрицкого, мне всегда представляется, что продкомиссар

⁴ Продразверстка – обязательный непосильный налог на крестьян, введенный в период военного коммунизма (1919–1921). Предусматривал изъятие "излишков" сельхоз. продуктов. В 1921 заменен более легким продналогом.

Коган в своих окулярах – это тот самый близорукий Сема Коган, первый ученик нашего класса. Неважно, что у Багрицкого не Семен, а Иосиф. Много было таких Коганов.

Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган:
"Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая,
Не пристало коммунисту
Бегать, как борзая..."

Тела наших товарищей, погибших в Савранском лесу, лежали, до плеч покрытые старым брезентом. Лица были синие, распухшие. Перед тем, как убить, им разрезали животы и набили их зерном – так зверье мстило...

Медленно, медленно шагали мы под звуки траурного марша. Толпы городского люда сопровождали гробы вместе с нами. Эти чужие женщины, плачущие над трупами замученных юношей и девушек, только в тот момент, видно, поняли что-то. Не классовую сущность случившегося поняли, конечно, эти городские мещанки – молочницы, огородницы, жены ремесленников, торговки семечками. Нравственное, душевное превосходство этих отдавших свою юную жизнь мальчиков и девочек они почувствовали...

О комсомоле тогда еще мало знали – особенно в деревнях и маленьких городках. А ведь именно там жило большинство народа. И народ увидел, какой он, комсомол...

Балтский уезд удалось окончательно очистить от скрывавшихся в лесах бандитских шаяк только в конце 1921 года. Но еще держалась некоторое время привычка носить с собой винтовку. Потом перешли к нагану, потом оставили и его – но порох, которым мы были начинены, остался сухим.

* * *

Совсем юным комсомольцем я присутствовал в 1921 году на чистке партии. Она проводилась на широко открытых партийных собраниях. Мы с несколькими ребятами пошли на Маразлиевскую улицу, в клуб одесской Губчека.

В битком набитый зал вполне мог пройти и кое-кто из тех одесских обывателей, которых приводило в содрогание самое слово Чека. Те из них, кто вырос на обмане и стяжательстве, впервые в жизни могли заглянуть в сердца людей неподкупных и непреклонных, беспощадных к врагам, но лишенных и всякого снисхождения к себе.

Работники Губчека получали тот же скудный красноармейский паек, что и все мы, тот голодный паек, которым революция могла обеспечить своих солдат и бойцов трудового фронта. Доверие рабочих к чекистам, как и к другим коммунистам, выполнявшим особо ответственную работу, находилось в прямой зависимости от их бескорыстия, идейности и нравственной чистоты.

... Прочитав мои первые записи, один мой молодой друг сказал:

– Старому человеку его молодость сияет в ореоле. Но не кажется ли вам, что тут уместен в качестве эпиграфа маленький диалог из романа американца Р.П. Уоррена "Вся королевская рать"? Он полистал книгу и отметил ногтем несколько строк.

– Вот тут: "... Да, ты мне говоришь, что у нас было замечательное и прекрасное прошлое, а я тебе говорю: если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда, черт побери, взялось это совсем не замечательное и не прекрасное настоящее – откуда, если этого не замечательного и не прекрасного не было у нас в прошлом? Объясни мне.

– Не надо, – сказала она. – Не надо, Джек".

Я согласился, что вопрос Джека не зря пришел на ум моему молодому собеседнику. Однако я попытался убедить его, что не занимаюсь идеализацией своего вчера.

– Да, так было, – сказал я. – Первый период революции пробуждает в каждом ее участнике его лучшее "я". В другое время оно, может быть, и заглохло бы. Защищая правое дело – не себя, а братьев и сестер своих – люди становятся выше на голову. Прежде всего потому, что готовность к самопожертвованию становится неперенным элементом общественной психологии – ведь без такой готовности ни революции, ни отечественные войны невозможны... Каждый исторический год, согласен, несет в себе зародыш своего преемника, но это вовсе не значит, что преемник будет его копией. Это был бы слишком упрощенный взгляд. Я понимаю диалектику развития так, что новое, возникшее из старого, и новейшее, рожденное от нового, являются и продолжением предшествующего, и в то же время во многом его противоположностью. Можно ли, например, сказать, что жестокость сталинизма была продолжением...

– А почему нельзя так сказать? – подхватил мой собеседник. – Вы что, не знаете, что Горький постоянно приходил к Ленину ходатайствовать то за одного, то за другого арестованного интеллигента? А про заложников не знаете? А о письмах Короленко к Луначарскому не слыхали?⁵

– Знаю и слыхал. Но ответу не так, что лес, мол, рубят – щепки летят. Люди не щепки. И все же – сравните самые острые моменты пролетарских революций с буржуазными и даже крестьянскими. Собственничество и жестокость очень связаны. Вы же прочли, что кулаки делали с комсомольцами. Разве это было только в Савранской волости? Защита своих привилегий очень близка к защите своей собственности, но очень далека от защиты угнетенных и гонимых. Ну, вот, представим, много ли добился бы Горький, ходатайствуя перед Кромвелем или Робеспьером? А вспомните самоубийственное добросердечие Парижской коммуны. Сталинизм не карал виновных, он всегда уничтожал невинных, умышленно изображаемых виновными. А революция на первых порах даже открытых своих противников отпускала под честное слово. Только потом пришлось стрелять...

– Но гены-то, гены неправосудия были? Были или нет?

– Гены, о которых вы говорите – это отсутствие гласности и соединение разных функций правосудия в одном аппарате. Да, это было. Но для времени, о котором идет речь, это объясняется (и оправдывается, мне кажется) чрезвычайностью обстоятельств, исключительной напряженностью момента, смертельной опасностью. Такое нравственно трудное, обоюдоострое дело могло быть поручено только людям особых качеств, о которых я только что говорил. И, конечно, очень ненадолго. Увековечение чрезвычайности рождает новую, непредвиденную опасность...

...По рельсам, по шоссе, по пашням
Колеса гонят пыль времен.
И меж грядущим и вчерашним
Мы что-то вроде шестерен.
Пусть промежуточных! Не ропщем.
Без них пойдет с ведущим днем
Ведомый день в движении общем,
Но в направлении – не одном...

⁵ В письмах В.Короленко к А.Луначарскому, наркому просвещения в 1917–1929 годах, раскрывались многочисленные факты бесчеловечности новой, нарождавшейся власти. Письма были опубликованы в Париже в 1922 году и в Самиздате – в 1967. О последующих изданиях (если таковые были) составителю примечаний неизвестно.

2. Наш монастырь святого Иакова

Лучшую часть нашей комсомольской жизни мы проводили в клубе. В деревне ли, в уездном или губернском городе – в клубе мы собирались ежевечерне. Ничем особенным не блистали наши клубы – ни концертами, ни киносеансами, ни приличной обстановкой. Чаще всего там стояли ряды простых грубо обструганных лавок. Дощатая сцена чуть возвышалась над полом. Занавес, сшитый из разного старья, опускался редко.

Казалось просто неестественным не прийти вечером в клуб. Там был наш дом и наша школа. Наши песни повторялись каждый вечер, все пели хором. Беседы не отличались разнообразием. А почему так тянуло туда, в этот обставленный шаткими скамейками зал, где и портретов ничьих не висело? В те годы и портреты Ленина редко печатались – даже в газетах.

Комсомольский клуб двадцатых годов несравним ни с чем другим. Он не был помещением для мероприятий, задачей которых было завлечь избалованную зрелищами молодежь. Избалованы мы не были – мы пришли на пустыри бескультурья. И вопросы наши были ясными и в высшей степени серьезными: политика и только она. Наш клуб был чем-то вроде того клуба в здании монастыря святого Иакова в Париже, от которого получили свое название якобинцы.

Как и всякая другая молодежь, мы любили компанию. Но тут действовало нечто более сильное, чем обычная склонность повеселиться сообща. Из всех наших чувств наиболее жарко горело одно – и как раз то, которое лучше горит не в одиночку и не вдвоем, а в человеческом множестве. Революционный дух всегда массовый.

Клуб формировал наши души. Он был котлом, в котором мы варились (так и говорили тогда: "провариться в рабочем – или комсомольском – котле").

Что роднило нас? Клубные занятия? Наивные эстрадные постановки? Нас роднила чистота побуждений. Мы видели друг в друге: каждый пришел сюда с чистым намерением, намерением защищать коммунизм, не жалея своей жизни – вопрос о жизни и смерти не был тогда праздным. Здесь бесполезно искать праздную жизнь или возможность "устроиться". Здесь для нас – школа равенства коммунистов. Каждый из нас был готов голодать и рисковать жизнью без самолюбования и без хныканья. Того, кто рисовался или хныкал, обзывали "гнилым интеллигентом". "Гнилой интеллигент" – одна из самых обидных тогдашних кличек. Хуже него считался только шкурник. Из "гнилого интеллигента" еще можно сделать человека, но шкурника неисправим. Шкурника надо гнать в шею.

В ненависти к шкурникам, в презрении к "устроителям" своих дел и лежала, я думаю, основа столь обычного тогда явления – подчеркнутого равнодушия к внешности, к костюму, к обстановке. Мы не любили тех, кто слишком заботился о своей персоне.

Перед нами стоял образ человека, о котором мы твердо знали: он живет так же просто, как и мы. Он – первый во всем. Он первый также в осуществлении принципа равенства среди коммунистов. Он мог бы, но не желает получить для себя лично больше того, что имеет каждый товарищ. Слово "товарищ" звучало родственней, чем "брат".

– Ты смотришь на меня, как на женщину, а не как на товарища – оскорбленно говорила комсомолка. И, чтобы не походить на женщину, коротко стриглась и одевала солдатские штаны, сапоги и гимнастерку.

Так долгие годы по возвращении с польского фронта одевалась и Маруся Елько.⁶ Ее ласково прозвали "Маруся в штанах". Одесский комсомол любил Марусю.

⁶ Маруся Елько – настоящая фамилия Ювко (1901–1937) – в биографии М.Байтальского (см. "Домальский", КЕЭ, т.2, стр.370; Иерусалим, 1982. Названа М.Елько в соответствии с текстом настоящих воспоминаний) – активистка одесского комсомола, участница двух подпольий.

Не мне писать историю одесского комсомола, рожденного в 1917 году, прошедшего через два подполья, и еще по-настоящему не описанного. Приехав из захолустного городка, когда окончились уже все битвы, я знал о его прошлом только понаслышке. Но с немногими из тех, кто его основал, мне посчастливилось сдружиться.

Мало кто из моих друзей выжил. Их кости свалены в скрытых от народа ямах, а ямы затоптаны вровень с мерзлыми кочками тундры. Оклеветанные и облитые кровавой грязью погибли Маруся и ее муж Рафаил – длинноносый, долговязый, невозмутимый Рафа. Рафаил была его подпольная кличка, настоящее имя – Михаил Гран. Но для нас он навсегда остался Рафой.

Наша дружба началась в Одессе, в Молдаванском райкоме комсомола, где он был секретарем, Маруся – завполитпросветом, а я – инструктором. Рафаил, как и Маруся, только недавно прибыл с фронта. Потрепанная зеленая английская шинель болталась на его худых плечах. Глаза у него были немного косые и разноцветные: один карий, другой какой-то зеленый. Его подковыривали: "один глаз на алмаз, а другой – на баркас". Он ничуть не обижался. Более добродушного и незлобивого человека, чем он, казалось, невозможно найти на свете.

На углу улиц Карла Маркса и Жуковской, в большом пятиэтажном доме помещались губком и общежитие комсомола. Мы жили в одной комнате вчетвером: Маруся, Рафа, Костя Гребенкин и я. Центральное отопление – равно как трамвай и многое другое – бездействовало. Нас спасала "буржуйка" – печка из кровельного железа с выпущенной в окно трубой. Сколько было в доме окон, столько труб дымило в узкий и глубокий двор, настоящий городской колодец. Топили буржуйскими диванами и креслами – больше было нечем. Один диван мы помитовали и отдали в качестве свадебного подарка Рафе с Марусей. Мы же с Костей спали поспартански на деревянных топчанах без матрацев. Шинель есть? Хватит.

Но комната с буржуйкой служила нам биваком, а жили мы, конечно, в райкоме и в клубе на Молдаванке, Прохоровская 36. Райком, собственно, занимал одну комнату, прокуренную и тесную. С утра мы готовили материал для вечерних кружков, школ и эстрады. Видной фигурой в нашей работе был комендант клуба, он же главный и единственный светооформитель, техник, электрик, художник и пишмашинист – рыжий, расторопный и бессонный Авербух. Ежедневно он получал для нас паек хлеба и делил всем по куску. Второго куска не полагалось до завтра. Несколько раз приезжала из Чернова мама. В деревне еще пекли хлеб, и мама привозила испеченный ее руками каравай. Хотя я чувствовал неловкость от того, что моя мама – мелкобуржуазный элемент, но каравай мы принимали как должное и тут же резали его на четыре части. Мама стояла у двери, пока мы расправлялись с хлебом. Затем я шел проводить ее. В ответ на ее замечания – обычно по поводу грязи у нас в комнате – я либо молчал, либо говорил что-нибудь невразумительное.

Суровой оказалась зима 1921-22 года. Поволжье голодало. Люди умирали на улицах и в Одессе. Много дней подряд по пути в райком мы проходили мимо подъезда, где сидела закутанная в тряпье старая еврейка. Она вся распухла. Раскачиваясь и кутая руки, она беспрерывно, с утра до вечера, повторяла только два слова:

– Я голодна! Я голодна! Я голодна!

Однажды морозным утром мы увидели ее мертвой.

В комсомольском клубе на Прохоровской девушки и юноши с ввалившимися глазами на почерневших лицах занимались в школах политграмоты и в литературных кружках. Они грызли гранит науки и призывали мировую революцию. Слова "мировая революция" мы произносили так же часто, как ребенок произносит слово "мама", и так же просто, без благоговейной елейности. Точно так же, без ханжеского меда, говорили мы о Ленине. Мы никогда не считали обязательным, ссылаясь на него, непременно писать или выговаривать полностью "Владимир Ильич Ленин", как требуют сейчас преподаватели общественных наук от учащихся. Да и в

любой статье вы сегодня не встретите просто имени Ленин, а обязательно с инициалами, либо с именем-отчеством. А на мавзолее нет ни инициалов, ни имени-отчества – просто Ленин.

Нечего и говорить, что мы не прибавляли к имени Ленина никаких эпитетов. Все эти бесконечные "великий" и "любимый" вошли в обиход при Сталине. Божественно-холопские величания с их чисто семинарской елейностью адресовались, прежде всего, именно ему. К семинарскому стилю я приучен не был – и не привык до сих пор.

Нетерпимость к ханжеству и лицемерию особенно заметна была в Марусе. Сочетаясь с тонкой насмешливостью, она делала ее опасной для людей фальшивых, "себе на уме". Глубоко искренняя, Маруся не была простодушной, хотя и любила простодушных людей.

Маруся и Рафаил изобрели устную газету "Шпилька". Ребята из Пересыпи приходили на Молдаванку, чтобы послушать ее. Не ахти какое было наше остроумие, но за неимением лучшего – нравилось.

По утрам, макая хлеб в кружку ячменного кофе, мы втроем сочиняли фельетоны для "Шпильки". Доставалось всем – от девушек из ячейки табачной фабрики до секретаря губкома. По вечерам, под дружный общий смех, мы читали в переполненном зале клуба свою устную газету. И представьте – действовало. Тоже на всех – от секретаря губкома до девушек-табачниц. Даже саму Марусю та же "Шпилька" заставила сменить штаны на юбку, хотя прозвище "Маруся в штанах" и после этого осталось за ней надолго.

Далеко ей было до красавицы, но Маруся была украшением нашего района. Она умела дружить с ребятами лучше, чем с девушками, хотя девушки очень к ней тянулись. Может, именно это вызывало у нее оттенок снисходительности? А с парнями она чувствовала себя более по-свойски, она была им ровня.

Самая чистая дружба связывала меня с нею и с Рафой. Нас называли неразлучной троицей, святой троицей, молдаванской троицей. Однако, когда я влюбился в свою будущую жену, одна Маруся стала моей поверенной. Рафа был не то чтобы суров – ничего похожего, а немного как бы не от мира сего. С ним о личных делах я не всегда говорил.

Вовсе не хочу сказать, что мы толковали исключительно о мировой революции – нет, мы делали свое нехитрое дело. Оно занимало нас постоянно, как писателя или ученого постоянно занимает книга или исследование, над которым он работает. Мы тоже – когда и не делали, то обдумывали. Случалось, среди разговора о совершенно постороннем вдруг остановишься: "Слушай, Рафа, знаешь, что я придумал?". И начинаем обсуждать – как, скажем, провести сегодня вечером занятия в клубе. Маруся была выдумщица на редкость. Ну, и мы с Рафой тоже старались лицом в грязь не ударить.

В мое время комсомолец обиделся бы смертельно, если бы ему сказали: "Работай лучше, получишь больше!" Не потому, что он выставлял напоказ свой энтузиазм, а потому, что совесть пролетария, творца вещей, не позволяла ему работать вполсилы, как бы ему ни платили.

А если ты коммунист, то тобой руководит, кроме того, и сознание того, что ты на виду у народа. При Ленине существовал партийный максимум зарплаты. Ни в одном словаре, ни в одном романе, ни в одних мемуарах не найдешь теперь этого слова. Неужто партмаксимум был настолько второстепенным установлением, что не стоит и упоминания? А если так, то зачем так рьяно вычеркивать его из истории?

Нет, партмаксимум не был второстепенным явлением. Партмаксимум означал вот что: коммунист и беспартийный специалист, занимавшие одинаковую должность и получавшие одинаковую зарплату, фактически получали не одну и ту же сумму денег. Член партии получал МЕНЬШЕ. Он имел право оставить себе из зарплаты только сумму, не превышающую партмаксимума, установленного Центральным Комитетом. Эта сумма в разные годы была разной, росла по мере роста среднего заработка. К концу 20-х годов партмаксимум для Москвы составлял 250 рублей – средний заработок хорошего рабочего.

Парижская Коммуна стояла за оплату государственных служащих наравне с рабочими. В проекте изменений к партийной программе в 1917 году Ленин писал: "Плата всем без изъятия должностным лицам определяется в размере, не превышающем среднюю плату хорошему рабочему". У нас любят вспоминать, как Ленин объявил выговор Бонч-Бруевичу⁷ за то, что тот самовольно повысил ему жалованье, как председателю Совнаркома. Но что возмутило Ленина? Прежде всего – нарушение принципа равенства зарплаты рабочих и высших государственных деятелей. Ничто не способно так укрепить доверие масс к руководящей партии (члены которой занимают большую часть важнейших должностей в государственном аппарате), как это ленинское партийное самоограничение. И очень характерно его исчезновение. Партмаксимум начали постепенно отменять в 1929 году, а к 32-ому совсем отменили и постарались даже вычеркнуть это понятие из памяти коммунистов.

Еще бы: ведь принцип самоограничения для руководящих работников-коммунистов был заменен постепенно принципом привилегий. Ленин требовал сочетать энтузиазм с материальной заинтересованностью рабочего, но никак не энтузиазм высших партийных деятелей с их высоким материальным обеспечением.

В резолюции 12-ого съезда партии есть пункт: "Съезд полностью подтверждает постановление августовской 1922 года партконференции, направленное к сокращению материального неравенства в партии (запрещение участия в прибылях, обязательные вычеты из высоких жалований в пользу партийных фондов взаимопомощи и т. д.), таящего в себе в условиях НЭПа особенно большие опасности". В этой резолюции выражены, среди прочего, и взгляды партии на существо материальной заинтересованности: она понималась, как участие в прибылях предприятия, а не как оплата за большее количество изготовленного продукта или премия за выполнение плана. И именно эту материальную личную заинтересованность коммуниста отвергал 12-й съезд партии, требуя материального равенства членов партии, ибо не этот стимул для них писан, а идейный.

Правда, еще один сильнейший стимул может двигать человеком: жажда власти и опьянение ею. Мы видели на многочисленных и страшных примерах, к чему приводит опьянение ничем не ограниченной властью. Я не хочу сказать, что каждый, добывающийся власти жаждет только ее самой, а не руководствуется заботой о судьбе народа. Беря власть в 1917 году, большевики руководствовались убеждением, что в этом – единственный путь спасения России от контрреволюции и что Россия откроет путь мировой пролетарской революции. Но, кажется мне, что власть в период ее завоевания и в период ее стабильности – разные вещи. Люди, пришедшие к власти в результате революции, носят на себе особую печать. Ленин в 1917 году и Сталин в 1942 разнятся не только как личности, не только своим внутренним содержанием, но и содержанием эпохи.

Впрочем, сравнивать Ленина с теми, кто заменил его на его посту, не следует: он – явление исключительное и редкостное. Но о плеяде его помощников надо вспомнить, если мы хотим понять историю. Почему после Луначарского не было равного ему по блеску, эрудиции и широте министра народного просвещения (и министра культуры)? И после Дзержинского не оказалось на столь сложном посту такого чистого, смелого и рыцарственного человека? И после Чичерина⁸ и Литвинова⁹ не нашлось даже близких к ним дипломатов – пусть не по блеску, но хотя бы по прямоте, по силе логики и принципиальности, позволявших им выходить из самых трудных положений, не изворачиваясь и не называя черным то, что вчера было белым. И после

⁷ Бонч-Бруевич В.Д. (1873–1955) – старейший деятель компартии, сотрудник "Искры" и "Правды". В 1917–1920 годах – управляющий делами Совнаркома.

⁸ Чичерин Г.В. (1872–1936) – советский гос. деятель, дипломат. Член РКП(б) с 1918 г. Нарком иностранных дел (1918–1930)

⁹ Литвинов М.М. (1876–1951) – профессиональный революционер, зам., а затем – нарком иностранных дел до 1939 года, когда был смещен (вероятно, по требованию Гитлера, ибо – еврей).

Крупской и Коллонтай¹⁰ не нашлось равных им деятельниц. Все, кого я назвал в предыдущем абзаце, пришли к высшей государственной власти не по ступеням партийного руководства, не с курсов и школ, а прямо из ссылок и тюрем. Тут-то и была их школа – не факультет администрирования, а факультет ненависти к самовластию, к бюрократизму, к российскому держиморде, к принципу "держать и не пущать". То были люди, обладавшие подлинной внутренней интеллигентностью, без которой чувств и мыслей народа понять не дано, сколько бы партшколы ни закончил. Сталинизм совершенно чужд интеллигентности, он отрицает само это понятие, заменяя его формальным образованием. Впрочем, к этому я еще, вероятно, вернусь, да и не раз.

¹⁰ Коллонтай А.М. (1872–1951) – профессиональная революционерка, член большевистской партии с 1915 года, занимала партийные посты. С 1923 года была на дипломатической работе.

3. Были ли мы интеллигентны?

Успех "Шпильки" в Молдаванском районе вызвал к жизни устные газеты и на Пересыпи, и в Привокзальном районе. Вскоре губком комсомола постановил начать издание молодежной газеты. Назвали ее "Молодая гвардия". Редактором стал Рафаил.

Рафа всего себя вкладывал в работу, за которую брался. Молодому редактору чуть переваляло за двадцать. Учебников журналистики еще не создали, и до газетных "мудростей" приходилось доходить самому. Из еженедельной "Молодая гвардия" впоследствии превратилась в ежедневную, но, когда в Москве стала выходить "Комсомольская правда", наша газета закрылась – несколько выросших в нашей редакции молодых журналистов переехали в Москву. Рафаил к тому времени уже работал в ЦК ВЛКСМ, заведовал отделом печати. Но свой образ жизни изменил мало. Болтавшееся на его плечах дешевое пальто удивительно напоминало прежнюю шинель. И квартиры у него долго не было: и в Харькове, и в Москве этот руководящий комсомольский работник обычно ютился у товарищей. Он немного стеснялся своей житейской неприспособленности и порой делал попытки показать, что он тоже разбитной парень: шпарит на балалайке, умеет и стакан вина выпить...

А Маруся еще долго оставалась в Одессе и виделась с Рафой только, когда он приезжал в отпуск. Она не удивлялась и не возмущалась тем, что у Рафы нет комнаты. Таков Рафа – и нечему удивляться!

К этому времени наши лица потеряли цвет голодных годов, пошли у нас семьи. Моя жена перестала считать шелковые чулки признаком мещанства. На Марусе я шелковых чулок не видел. И коротко стриженной она осталась навсегда – не могу даже представить себе ее с другой прической. А ведь в юности, по рассказам сестры, у нее были чудесные русые косы.

Пятнадцатилетней девочкой, еще до революции, она вступила в подпольный Союз социалистической молодежи. Она училась тогда в гимназии, которую вскоре окончила с золотой медалью. Отец Маруси, портовый рабочий, и не мечтал отдать дочь в гимназию, доступную только детям торговцев, чиновников, фабрикантов и высоко оплачиваемых специалистов. Но Маруся блестяще училась в начальной школе, и какая-то благотворительная организация взяла на себя оплату трех четвертей стоимости "правоучения" (так это называлось в обиходе) в частной гимназии (в казенную дочь рабочего не приняли). Четвертую часть, сто рублей в год, платил отец, который любил старшую дочь какой-то болезненной любовью. Может, поэтому, она росла такой своевольной – в доме она командовала всеми; я это наблюдал, когда ее сестры были уже взрослыми девушками.

В семье Маруся вела себя эгоистически, чего тут приукрашивать? Она и мать свою жалела меньше, чем младшие сестры, и брату причинила немало огорчений. Но я вспоминаю дух, царивший тогда среди нас – мы все страдали каким-то ослаблением семейных привязанностей. Или мне это кажется? Вероятно, сама обстановка заставляла нас не жалеть матерей, которые останутся одни, если сына или дочь убьют в Савранском лесу. Ну, а вы-то, осуждающие нас за это – вы не огорчаете матерей? И ради чего?

Мы все знали Марусин характер – порывистый, увлекающийся, но и упрямый и неуступчивый. А Рафа был добродушен и уступчив. Естественно, что в семейных делах верховодила Маруся. Рафа и не скрывал, что он не стремится взять верх над женой.

И наступило время, когда ее порывистость, независимость и твердость оказались до того важными качествами, что решили судьбу обоих. Деревья умирают стоя.

... Если меня спросят, что было главной чертой Маруси, помимо характера, который, накладывая на поступки человека печать личности, все же не исчерпывает его полностью, я отвечу, что это было сознание общности с коллективом, частью которого она себя считала. Ее демократизм, ее нелюбовь к "зарвавшимся", ее умение сдерживать себя, не подчеркивать своего

превосходства, искренне не видеть его – все это происходило от постоянного сознания своей общности с товарищами. Будь эта черта присуща ей одной, Маруся выделялась бы из всех нас. Но она была присуща всем нам – только у нее она проявлялась в особой, только Марусе свойственной форме.

Одним из худших грехов руководителя мы считали тогда отрыв от масс. Его опасались пуще смерти; за него без колебаний исключали из партии во время очередной чистки. А если, скажем, секретарь губкома позволял себе пропускать собрания ячейки, в которой он состоял рядовым членом – это означало, что он "отрывается", – и любой комсомолец, поднявшись на клубную сцену, мог высказать ему в лицо суровую правду. Да, так оно и было.

* * *

Нет ничего проще, чем отмахнуться от Маруси с ее уравнительными понятиями, с недостаточной утонченностью, со всем тем, что теперь кажется примитивным и нарочито неуклюжим. А она вовсе не была примитивна – она была сложной и интересной личностью. Время требовало от нас наступать на горло тем чувствам, которые могли ослабить дух солдата революции. Время настаивало на прямолинейности и резкости. Время торопило нас, заставляя отбрасывать лишнее (пусть и очень важное!), как солдат в походе бросает все, сохраняя лишь необходимое: оружие, фляжку воды, табак и немного еды. Потому-то даже в воспоминаниях мы выглядим лишенными красок, черно-белыми, без полутонов. А краски были, и полутона тоже были, – но это были краски той эпохи. Мы не подделывались под нее – мы ее создавали. А она, в свою очередь, формировала нас. Маруся, подобно всем нам, изредка презрительно бросала: "гнилой интеллигент". А в ней самой был жив дух подлинной внутренней интеллигентности. Что она такое, эта интеллигентность, мы тогда понимали очень смутно, механически отождествляя поведение служилого сословия в первые годы революции, с самой сущностью интеллигентности. Теперь этот прием забыт, но появился новый: отождествление интеллигентности с дипломированностью.

Мы и сами не знали, что переняли нравственные идеалы всех поколений русской революционной интеллигенции: ее нонконформизм, правдолюбие, совесть. Может, в чем-то мы и перехлестывали через край, но наша активная ненависть ко лжи и ханжеству, к лицемерию и угодничеству были несомненны. И эти качества очень скоро оказались не ко двору. Наша неспособность молчать и безгласно подчиняться окрику сверху не годились Сталину. Тот факт, что почти все друзья моей молодости загублены им – далеко не случаен.

4. Мера человеческих поступков

Я еще помню свою маму молодой. Случалось, приедет из местечка в Ананьев ко мне, гимназисту пятого класса, мы идем с ней по улице, и все оглядываются. А одета она очень просто, и никаких украшений – ни ожерелья, ни даже колечка. Украшений она никогда не носила.

В местечке Черново имелись, как водится, местечковые богачи. Их жены любили щеголять золотыми цепочками, брошками, браслетами. Мужья считали, что расходы на золото себя окупают, что это – расходы на представительство.

Есть представительство совсем другого рода: простота квартиры Ленина в Кремле представляет перед трудовыми людьми всего мира: таков моральный облик пролетарского революционера. И люди поймут: дело не только в тогдашней бедности России, но и в добровольном самоограничении коммуниста до тех пределов, в которых живут рядовые трудящиеся. Роскошь станции "Комсомольская", охотничьих домиков в Грузии (и не только в Грузии!) и некоторых современных палаццо доказывает вовсе не высокий уровень современной обеспеченности широких масс, а лишь степень отрыва от них тех, кто называет себя их представителями.

... Маруся Елько не носила украшений. Возможно, она просто не любила их, как моя мама, у которой не было принципиальных причин, какие могли руководить Марусей.

Маруся никогда не "хлопотала" и о благах. Заслужил – не заслужил, такой меры у нас в те годы не знали. Таких и слов не ведали. Мы слишком напряженно интересовались будущим, чтобы меряться прошлым, а заслуги – это прошлое, это то, что уже сделано.

... В нашем доме рабочей молодежи жили три Марусины сестры. Отца уже не было в живых. Все сестры – милые девочки, веселые, прямые, открытые, походили на Марусю изобретательностью по части разных смешных трюков. Их мать работала в губкоме комсомола уборщицей. Передвигаясь со своим веником по кабинетам, она придавала им какой-то домашний уют, словно у нее на квартире собрались марусины друзья для обсуждения своих молодежных проблем. Они спорят, горячатся, размахивают руками. Конечно, Витя Горелов уже задел сгоряча чернильницу.

– Ах, черт! Ей-богу, нечаянно, мамаша, извините меня!

Мамаша улыбается. Она знает, Витя горячий парень. Быстренько снимает со стола заливную чернилами газету, стелет другую, ставит чернильницу подальше от Вити и выходит. Так оно и было, весь губком и все районы считали себя одной большой и дружной семьей. Вспоминаю одного из самых неугомонных мальчишек нашей семьи, лихого пересыпчанина Сему Липензона. Он отличался не только лихостью. От природы талантливый вожак, он постигал, все, что знал, самоучкой. Совсем еще молодым, не имея формального образования, впоследствии он успешно вел большую хозяйственную работу. А потом – погиб от пули. Не на фронте, а в воркутинской тундре, где нет и холмика над его могилой.

Никогда и нигде я не чувствовал так полноту товарищеского доверия, как в комсомоле тех лет. В подпольной организации дело другое – там доверие глубочайшее, но ограниченное узким кругом. А когда подполье кончилось, и комсомол стал расти вширь – позволена ли даже тень недоверия?

"Сталь закаляется в огне" – выражение неточное. Сталь, нагретая в огне до своей критической температуры (не одинаковой, заметим, для разных сталей), закаляется, если резко погрузить ее в охлаждающую среду.

По многу лет ты не виделся с друзьями молодости. Ваши пути разошлись – и вдруг выясняется, как мала планета. Очнувшись где-нибудь на краю света, находишь на нарах рядом с собой одного из друзей, кого не чаял никогда и встретить...

Мишу Югова¹¹ я не знал в юности настолько близко, чтобы рассказать, как пятнадцатилетний мальчик с гимназической скамьи пошел в революцию, как он работал в подполье, как сражался в рядах Красной гвардии, а потом – Красной армии. Но я видел его тогда, когда в нем начал крепнуть редкий талант трибуна – талант, приковывающий сердца слушателей к оратору. Миша Югов, одаренный юноша, обещал стать большим человеком.

В наши дни, когда доклады зачитываются по бумажке или передаются по радио устами диктора, теряет свое значение непосредственная импровизированная речь. Телевидение не может вернуть ораторскому искусству его былую роль – в студии импровизируют редко. Оратор, как и деятель любого искусства, кроме таланта, силен правдой, силен искренностью.

Устная речь во много раз убедительнее, чем читаемая с листка. Слушая импровизацию, люди присутствуют при рождении мысли, они переживают те же эмоции, что и оратор. Они чувствуют: эта речь никем заранее не написана, никем не исправлена, оратор говорит то, что он сам продумал и прочувствовал, что стало частицей его самого. Так можно говорить только правду. Демагогию и ложь не спасет и актерская игра. Обмануть она может лишь того, кто хочет быть обманут...

Ораторские таланты неожиданно проявились, когда революция расковала языки, и право говорить получили те, кто раньше был обречен на молчание. Но и в наше время оратору нужна была смелость – не для того, чтобы не теряться перед аудиторией, а чтобы не бояться додумывать свою мысль вслух и до конца. Его сила – в бесстрашии мысли.

Но в каком-то смысле нашим ораторам в те годы нужно было меньше смелости, чем в последующие. Помню выступления на партийной чистке 1921 года. Бывало, что исключали тогда из партии и весьма видных работников – нередко именно за то, что они зазнавались, вообразив себя несменяемыми и не исключаемыми. В Одессе, например, исключили заведующего оргинструкторским отделом губкома партии. Не суть важно сейчас – за что, да и не помню я этого. Но чтобы собрание потребовало исключения такого крупного работника (а вопрос об этом ставился на голосование), было, очевидно, необходимо, чтобы выступили несколько человек. И кто-то выступал первым – а это самое трудное. Не помню, кто это был, но совершенно очевидно, что его поддерживала уверенность в силе духа, совести и благородстве тех, кто его слушает. И если он опасался, что тот, против кого он выступает, попытается свести с ним счеты, то он твердо знал, что кто-то встанет на его защиту. Впоследствии, в атмосфере приниженности и страха была, увы, уверенность в обратном.

Явилась ли чистка 1921 года радикальным средством против проникновения в партию примазавшихся, карьеристов и приспособленцев? Конечно, нет. Если и в годы гражданской войны они были не прочь пробраться в правящую партию, то во времена НЭПа это стремление еще увеличилось. Однако самые строгие правила приема менее действенны, чем проверка на деле. И не столько в месяцы кандидатского стажа, сколько на дальнейшей повседневной работе, где человек виден окружающим.

Нельзя найти ни одного принципиального, идейного возражения против периодической (не стану фантазировать о сроках) чистки партии по типу ленинской чистки 1921 года. Но основное условие ее успеха сейчас немыслимо. Это условие – чтобы против любого, самого крупного работника мог выступить самый незаметный и маленький его подчиненный. Короткое слово "мог" означает в этом контексте очень много. Раз возникло само понятие "зажимщик" (имеется в виду – критики), значит, возможность безнаказанной критики стала более чем сомнительной. В те времена, о которых я рассказываю, оторвавшиеся от масс бюрократы боялись выступления рядовых работников на собраниях против них. В последующие времена рядовые работники боялись выступать против уверенных в своей безнаказанности бюрократов.

¹¹ М.Югов – настоящая фамилия Равинский (1901–?) – один из организаторов Союза ученической молодежи в Одессе, участник двух подпольных одесского комсомола, секретарь подпольного комитета комсомола.

Атмосфера изменилась. При Ленине проводили чистку СНИЗУ. При Сталине – чистку СВЕРХУ, сперва в форме проверки документов, а затем – расстрелом сотен тысяч коммунистов. Чем менее осуществима чистка снизу, тем она нужнее. Это ясно каждому, кто умеет и хочет думать: чем сильнее зло, тем необходимей борьба с ним. И, если идея чистки снизу нереальна – тем печальней для реальности.

... Но вернемся к рассказу о настоящем коммунисте Мише Югове. Когда он перешел из комсомольского подполья в подполье партийное, ему было семнадцать лет. Он вступил в партию, когда на Украине господствовали белые – вступил в партию не правящую, а преследуемую, за членство в которой сажали в тюрьму и расстреливали. Он был не только исключительно способным, непостижимо много читавшим человеком (несмотря на свою молодость – двадцать лет – он слыл в парторганизации Одессы 1921 года образованным марксистом); а главное – он был чист душою и бесстрашен перед подлостью.

Мы любили Мишу за все – за ум, за талант и больше всего за простоту, за скромность, за то, что он был весь наш. Не Михаил как там по отчеству (кто знал в комсомоле отчество?) Югов, а Мишка Югов. Едва он переступал порог клуба – а секретарь губкома почти ежевечерне бывал в одном из районов, – на него сразу наваливалась толпа ребят и девушек:

– Миша, здорово! Здравствуй, Мишка!

– Мишка, ты сегодня доклад делаешь?

Не знаю, когда он готовился; казалось, он готов всегда. И никогда не повторялся. И не разъяснял снисходительно, сверху вниз, а просто высказывал вслух свои мысли.

В 1923 году, во время внутривнутрипартийной дискуссии по поводу "Уроков Октября" Троцкого и так называемого "Заявления 46-и"¹² на одесском общегородском партийном собрании выступил с докладом секретарь губкома партии Хатаевич; содокладчиком был Миша Югов. Хатаевич говорил взволнованно и убедительно. Размахивая искалеченной рукой, он рубил ею воздух, как бы подчеркивая каждое слово. Но вот на трибуну взбежал Югов. Он всегда как бы набегал на трибуну – легко и быстро. Тому прошло полвека, и не вспомнить мне теперь ни слова из его выступления. Но забыть произведенное им впечатление, забыть его воздействие на зал – невозможно. Это была удивительная речь – удивительная по страстности, искренности и блеску. Все свои внутренние силы Миша собрал воедино; каждое слово падало, как гиря на чашу весов. Упала последняя – красный, разгоряченный, он спустился с трибуны.

Происходила последняя при жизни Ленина внутривнутрипартийная дискуссия. Сам Ленин не принимал в ней участия – он болел.

Согласно обычаю, существовавшему в партии до 30-х годов (и зафиксированному в уставе), группа делегатов любой партийной конференции, имевших особое мнение по любому вопросу, если она насчитывала определенное количество человек, имела право выделить содокладчика, чтобы это особое мнение изложить. Право содоклада сохранялось еще много лет (и после смерти Ленина), несмотря на известную резолюцию 10-го съезда о единстве партии. Значит, не противоречило ей.

Передо мной лежит мандат делегата 11-ой районной партийной конференции Пролетарского района Москвы, проходившей в декабре 1930 года. В мандате напечатано:

"Регламент: 1. Докладчику предоставляется один час и для заключительного слова – 20 минут.

2. Слово для содоклада предоставляется по заявлению не менее 10 делегатов с решающим голосом.

3. Содокладчику предоставляется 30 минут и для заключительного слова – 15 минут".

¹² "Заявление 46" содержало поддержку позиции Троцкого, критиковавшего тогдашнюю экономическую политику партии. После долгих проволочек публичная дискуссия на эту тему была проведена на страницах "Правды" (ноябрь 1923).

Хатаевич, выступавший с докладом на памятном мне обсуждении в 1923 году, конечно, и помыслить не мог, что дальнейшее развитие событий уготовит ему такую же смерть, как и его оппоненту-содокладчику. Можно ли говорить об ошибках Миши (да и ошибка ли это – отличная точка зрения?), умалчивая о его беззаветной преданности революции, о его близости к массам на любом посту, о его скромности и бескорыстии?

В последний раз я видел Мишу в ночь под новый 1929 год. Мы встречали его в Харькове, в тесном кругу бывших одесских комсомольцев. Пили мы мало, нас веселило не вино. Молодая жена Миши, женщина с прекрасным лицом и глубокими черными глазами, была в тот вечер грустна. Не мучило ли ее предчувствие? Смерть уже наметила себе Мишу. Некоторые любят тешить себя иллюзией, будто все мы в ту пору были людьми исключительными. Неверно это. Мы были не исключением, а правилом, обычными людьми своего времени. Начальная эпоха революции отражалась в нас полностью. Она делала нас смелыми, презирающими ложь и угодничество, отвергающими материальные блага. Это было в порядке вещей, это была наша мера ценностей.

В 1920 году Хаим Полисар, работник ЧК, удивил и возмутил черновских стариков: он конфисковал скобяную лавку родного отца на нужды революции. А нас, комсомольцев, этот шаг не удивил: что особенного, у всех конфискуют, чем отец Хаима лучше других?

Через двадцать лет многие наши жены отказывались от своих мужей. Может быть, эти явления – одного порядка: конфисковать лавку у родного отца, потому что он – "буржуй" и развестись с мужем, потому что он – троцкист? Нет, это были явления разного порядка. Ибо в первом случае коммунист отказывался от каких-либо привилегий и поблажек из принципа, а во втором случае естественные человеческие чувства подавлялись чаще всего из страха. А ведь в юности наши жены шли на голод, на лишения, на смерть. Это о них писал Светлов:

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом
На высоких кострах горели.

Каждая эпоха имеет свою меру ценностей, свой критерий человеческих поступков.

В 1937 году бюро Ворошиловского райкома в Одессе заседало, случалось, и ночами: спешили исключить из партии тех, кто уже был арестован (впрочем, так, наверное, происходило повсюду). Одного за другим вызывали коммунистов и коммунисток – родственников и друзей арестованных. У жен-коммунисток допытывались: почему не сообщили вовремя о своем муже? Он же враг!

– Да, я действительно замечала за ним что-то странное, – отвечали многие из них, – но не понимала, в чем дело. Да, я виновата...

Женщин этих я знал давно – наши девушки, подпоясанные ремешком. Их исключали (кто сумел дать "материал" на друзей мужа, тем ограничивались выговором). Осуждению подлежал не донос, а недонос.

Что ж, люди поступали по тому времени естественно. Но нашлась одна, резко восставшая против этой ненормальной "естественности" – Оксана Лазарева. Ее мужа, Исаева, уже арестовали, и ей задали тот же стереотипный вопрос: почему не сообщила? Она ответила:

– Мий чоловік – пастух, а я наймичка (наймичка по-українськи – батрачка). Не верю, – сказала Оксана, – что мой муж – враг народа. Я знаю, что правда раскроется, и в знак своей уверенности оставляю вам свой партийный билет. Придет день, вы меня вызовете на бюро и вернете его. (Этот день пришел, через восемнадцать лет ее реабилитировали. Но те, кто исключал, не могли вызвать ее на бюро: их расстреляли вскоре после того, как они одобрили арест и расстрел ее мужа).

Она положила партбилет. Никто не одобрил ее поступка. Все возмутились – как она смеет! Мера поступков была уже другая.

5. Чувства главные и второстепенные

Ева была секретарем комсомольской ячейки ЦОМ – центральных обмундировочных мастерских (в будущем – одесская швейная фабрика). В ту голодную зиму 1921 года нам исполнилось по восемнадцать лет. И мне, и ей казалось неудобным гулять по вечерам. Как это, пропустить клуб? О наших чувствах говорил только быстрый взгляд, каким мы обменивались, когда ячейка ЦОМ гурьбой вваливалась в клуб, да еще румянец на щеках, если кто-нибудь хитро улыбнется на наш счет.

Наши (мой и моих друзей) романы протекали целомудренно и просто. При этом родительский и всякий иной надзор мы с негодованием отвергали (Впрочем, где и когда надзор достигал цели, не вызывая непредвиденных осложнений, требующих нового надзора?). Мы отвергали большое декольте не из бедности – оно, кстати, экономнее закрытого ворота, – а в силу свойственного революционному духу отрицания, переходящего в пуританизм. (Так в свое революционное время буржуазия отрицала все дворянское). Комсомолке нельзя делать ничего, напоминающего мещанскую ловлю женихов. Комсомолка никогда не говорила подругам: "Когда я выйду замуж" – это было мещанством. Петь можно, потому что хором поют пролетарии; танцевать парами нельзя, ибо так танцуют буржуи.

Мы веселились по-особенному. 31-го декабря 1921 года происходил общегородской комсомольский вечер. Программа была такова: доклад о международном положении в истекшем году и... хоровое пение. По случаю Нового года предлагалось и угощение: тонюсенький бутерброд из черного хлеба с повидлом и стакан чая с карамелькой. Несколько ребят из Пересыпского района решили разыграть девушек: они забрались в буфетную комнату якобы с намерением унести угощение, девушки закричали, они рассмеялись и ретировались. Дело, конечно, не обошлось без Семки Липензона и Ваньки Кудлаенко – самых лихих из пересыпских парней. Комсомольца-пересыпчанина легко было отличить даже по внешнему виду: сдвинутая на затылок кепка и ворот нараспашку.

На рассвете первого дня 1922 года я проводил Еву домой и объяснился ей в любви. Поцеловаться она не захотела.

Ева не умела нравиться. И искусства одеваться она не знала. Да и о каком искусстве могла идти речь? Ева носила мешковатое пальто и заячью ушанку. На мой взгляд, она ей шла.

Наверное, чего-то не понимали тогда наши девушки, недостаточно думали о себе, недооценивали своей женственности, что ли... Но мы любили их такими, как они были.

Когда собираются девушки, и одна из них обращается к подругам, ожидаешь услышать: "Девчата!" (или, как теперь, – "Девочки!") Но в те времена это звучало иначе. Собирается ячейка ЦОМ – ни одного парня. Секретарь объявляет:

– Тише, ребята! Считаю собрание открытым...

* * *

Помню такую подробность нашего тогдашнего быта: жили мы в общежитии в одной комнате с Таней Семинской – она, Рафа, Костя Гребенкин и я. Таня была старая одесская комсомолка, т. е. совсем не старая, а молодая, румяная и хорошенькая. В отличие от нас она была ужасная чистюля. Эту неопасную слабость мы ей великодушно прощали. Она втащила в комнату нескладную первобытную раскладушку, принесла чистую простыню, одеяло и подушку и запретила нам прикасаться к ее постельному имуществу. Ложась спать, она командовала нам отвернуться, а сама ложилась в постель нагишом: боялась вшей. Мы покорно отворачивались. Ни я, ни Костя, ни Рафа никогда не делали попытки взглянуть на Таню хоть уголком

глаза. Уверенная в нашей честности, она раздевалась спокойно, не спеша. Шмыгнув под одеяло, командовала:

– Ну, теперь можете смотреть!

И мы продолжали разговор – конечно, о своей работе. Таня была в то время секретарем Пересыпского райкома, Рафа – Молдаванского, а Костя – Привокзального. Так что говорить было о чем.

... Пришло время и Дому рабочей молодежи на углу улиц Карла Маркса и Жуковской приобрести благообразный вид. Лестницу принялись мыть, ванны – употреблять по назначению. Шинелью уже не укрывались.

Появились первые семейные пары. В нашем доме первыми стали Рафа с Марусей и Боря Зильберштейн с Эммой. Эммочка Лубоцкая была очень хороша собой. Высокая, величавая, она неизменно играла королеву в часто повторявшейся у нас оперной инсценировке, где влюбленного пажа, как водится, казнят по приказу ревнивого короля. Пела она хорошо, роль королевы шла ей, словно специально для нее писалась.

Боре с Эммой отвели квартиру на той же лестнице, где помещался губком комсомола. В их квартире мы чувствовали себя не в гостях, а дома. Хозяйство вела бабушка. Кем она им приходилась, не знаю, все звали ее бабушкой. Белая, как лунь, маленькая женщина бесшумно передвигалась по комнате. Она усаживала за стол каждого, кто приходил к ее детям, она помнила всех по именам – особенно тех, кто во времена деникинского подполья приходил на явку в ее жилище, бедное жилище плакальщицы еврейского похоронного братства. Обмывая покойников, бабушка хранила веру в жизнь. Она пережила Борю. И еще многие из тех, кого она прятала в годы подполья, умерли раньше нее, оставшись в ее памяти такими, какими она их знала.

Жизнь Эммы с Борей проходила на наших глазах. Она была прозрачна и чиста, никому даже в голову не могло прийти, что они, возможно, и вздорят иногда. Эмма с Борей? Выдумки, быть не может! Эмма не выходила замуж ни тогда, когда Борю посадили на долгие годы в тюрьму, ни после его гибели. Но вот его посмертно реабилитировали, а Эмму не признали его женой: свой брак они не регистрировали.

... Однажды я выбрал тихий зимний вечер и попросил Еву выйти на минуту из клуба. В подъезде я сказал: "Нам уже пора жениться". Она рассудительно ответила, что лучше подождать – ну хотя бы год, пока она будет учиться в губернской партшколе. Принципиально же она не возражает. Даже в любовном объяснении она действовала принципиально.

Ее направили в партийную школу. В детстве Ева не училась – отец ее, умерший в начале революции, был беднейший из бедных еврейских портных. Детей осталось семеро. С колыбели не знавшая светлого дня, Ева обладала скрытным и угловатым характером. Но я любил, этого достаточно. И каждый вечер, после рабочего дня и клубных занятий, я шел пешком от джутовой фабрики до Садовой улицы к ней в школу.

Трамваи еще не ходили. К тому времени Рафу, меня и Марусю (неразлучная троица!) перевели из Молдаванского района в Привокзальный. Я работал на джутовой фабрике – рабочим в цехе и секретарем комсомольской ячейки.

Освобожденных от производственной работы секретарей тогда еще не было. На производство я пошел с легким сердцем. Многие из нас, бывших гимназистов, считали своим долгом идти на производство, чтобы "провариться", кроме комсомольского, еще и в рабочем котле. Мне и сейчас это желание не кажется странным. Физический труд укрепляет не одну лишь мускулатуру. В те годы работать физически не называлось "ишачить", это словечко появилось значительно позже. Мы нашей работой гордились.

Рабочий, занятый общественной деятельностью, не может не сравнивать себя с людьми, занятыми, собственно, той же общественной деятельностью (но в расширенном размере), которой он бесплатно отдает свои свободные часы. И чем шире вовлекаются рабочие в государ-

ственную работу, тем виднее становится всякая несправедливость в оплате физического труда и государственной деятельности.

* * *

Мои сутки делились на три неравные части. Наибольшая – фабрике и районному клубу, средняя – пешему хождению и торопливой еде, наименьшая – моей любви. Свидания происходили так: запыхавшись, с разбегу влетаю в комнату, где сидят за книгами курсантки партшколы. Мне молча уступают кусочек стола рядом с Евой. Вполголоса обмениваемся несколькими словами, и она снова углубляется в книгу.

– Ответь мне, – вдруг говорит она, – на такой вопрос...

С трепетом жду, что она спросит, люблю ли я ее. Нет, она интересуется формулой "товар-деньги". Растолковываю в меру своих куцых знаний и снова жду: когда же она задаст самый важный вопрос?

А она не спрашивает, и невозвратные минуты улетают в шелесте страниц. Девушки одна за другой захлопывают книги и вопросительно смотрят на Еву. Но я притворяюсь, что страшно занят формулой "товар-деньги" и придвигаюсь к ней (не к формуле, а к Еве), заглядывая через теплое плечо в книгу. Резкое движение, она встает:

– Ну, хватит, тебе пора домой!

Она соглашается проводить меня – не дальше лестницы. На площадке иногда удается украсть поцелуй.

И так – каждый день. Поистине влюбленные достойны рая, если они ежедневно, в любую погоду шагают шесть километров по мощеным булыжником улицам за одним проблематичным поцелуем... А утром, чуть свет – бегом на фабрику.

Комсомольцы моего нового района чуть отличались от комсомольцев Молдаванки. Чего-то им, с моей тогдашней точки зрения, не хватало. Может быть, прямолинейной жесткости, которую мы наивно считали тогда составной частью высокой идейности. Со стороны эта прямолинейность бывала даже похожа на нарочитость – порой я видел ее и в Еве – но она не была нарочитой. Такой выработался стиль жизни, стиль поведения.

А нравы привокзальных комсомольцев были несколько иными. В комсомольском клубе на Степовой (где помещался Привокзальный райком), просто не успели еще выработаться свои обычаи. В прежнем моем районе, Молдаванском, они были – давние и строгие. Например, гулянье влюбленных по улицам Молдаванки не то, чтобы не одобрялось – его просто не было, и конечно не потому, что Прохоровская улица узка. А на Степовой всегда гуляли – и не потому, что она широкая. Может, причина в том, что Молдаванский район обосновался значительно раньше – в 1917 году – и пережил подпольные времена. А может, и в том, что 22 год уже сильно отличался от 20-го.

Но все это были мелкие различия, не определявшие главного. Главным же в ощущениях тогдашнего комсомольца было, мне кажется, предчувствие каких-то новых, невиданных свершений, предстоящих мне, тебе, каждому. Они будут очень значительны! И они произойдут только благодаря моей, твоей, каждого из нас причастности к миру борющихся, эксплуатируемых, голодных.

Устремленность в грядущее, чувство личной причастности к мировой революции, готовность разделить всю ответственность за нее, которая вот-вот явится, – вот что возвышало нас, укрепляло в самом обыденном деле. Словно ждешь поезда, который увезет тебя куда-то к великой цели, и радостно вслушиваешься в отдаленный свисток... И вот уже явственно слышишь – рельсы гудят... Рельсы гудят! Разве не замечаете вы этого, как ныне говорят, подтекста, во

всех действиях и словах Павла Корчагина¹³ или в испанской грусти украинского хлопца из светловской "Гренады"?¹⁴

Вот что было для нас главным чувством. А любовь – второстепенным. И мы не скрывали а, наоборот, подчеркивали это, чтобы и наши любимые знали: революция – главное, а они – на втором плане. Напускное? Нет, совершенно естественное для того времени и для тех нас. Иначе революция не могла бы утвердиться. Я без преувеличений описываю то, что чувствовал тогда.

Было время НЭПа. Мы воспринимали его только так: мы отступаем, чтобы разбежаться для нового прыжка. Сегодняшний день – только предисловие к завтрашнему. Как-то комсомольцы Одессы устроили факельное шествие – не антинэповского, а антинэпманского характера. Несколько горячих голов разбушевались и в сердцах побили стекла в ресторане на Дерибасовской (центральная улица в Одессе). Отличился известный своей удалью Максимов. Его прозвали Максимчиком и, даже – "сумасшедшим Максимчиком", – его это прозвище нисколько не смущало.

* * *

Расскажу о девушке с джутовой фабрики, из-за которой я перестал ухаживать за Евой. Очень была хорошенькая девушка, но... Но носила дома белый передничек и звала меня Мишенькой. Этого я перенести не мог. В комсомоле ребят звали по фамилиям, иногда – по кличкам. По имени меня никто не называл, даже Ева – не всегда. А вот девушек называли по именам – такая уж была мода, а моды необъяснимы. Рафа (это ведь тоже кличка, а не имя) и Маруся с помощью простого сокращения сделали из первых четырех букв моей фамилии односложную кличку, которую помнят все мои старые друзья. Наша неразлучная троица любила сокращенные клички – так мы, суровые борцы, выражали ласку. Например, Марусю мы с Рафой часто называли Мрс, без единого гласного звука.

Белый передничек действовал на меня, как красная тряпка на быка, а тепленькое "Мишенька" доводило до белого каления. Мещанское сюсюканье, то самое, которое мы так презирали! И мой роман кончился в один миг. После несколько раз повторенного "Мишеньки" я объявил, что сил моих больше нет – и ушел.

Но Еву я уже потерял. Окончив губпартшколу, она попросилась в Херсон, подальше от меня. А я с головой ушел в работу. Тут как раз началась подготовка к изданию "Молодой гвардии". Рафаил привлек и меня, и мы проводили все вечера (а то и ночи), вырабатывая планы этого совершенно нового для нас дела. Рафа добился, чтобы меня отозвали с фабрики; разрываться надвое не годилось: от этого страдали и ячейка, и газета. Маруся, литературно одаренная более нас обоих, отнеслась к нашей газете холодно и не принимала в ней решительно никакого участия. Тем горячее она – теперь уже в одиночку – тянула районную устную газету (мы выпускали такую и в Привокзальном районе). Как и прежде, не могло быть и речи ни о каком согласовании с "вышестоящими" – кого бы ее газета ни высмеивала. Если бы кто-нибудь из губкома предложил нам предварительно показать ему фельетон ("а нет ли в нем чего лишнего?"), мы сочли бы его спятившим – и тут же откликнулись бы злой сатирой. К слову, "Молодая гвардия" тоже не согласовывала свои материалы в губкоме.

Бюрократические слабости, в отличие от обычных человеческих, не терпят шуток. Кто ими заболел, начинает ненавидеть правду о себе. Но вот, сколько ни острила "Шпилька" в адрес

¹³ Павел Корчагин – герой романа "Как закалялась сталь" Н. Островского.

¹⁴ М. Светлов (1903–1964) – участник Гражданской войны, военный корреспондент на фронтах Отечественной войны, автор множества популярных стихов и песен. Его "Гренада" стала гимном узников немецкого лагеря смерти в Маутхаузене. Был в негласной опале с конца 40-х и до смерти Сталина. Репрессирован не был.

Миши Югова (однажды даже сочинили и распевали частушку о том, как он прыгал через стол), ее насмешки не подрывали, а укрепляли его авторитет. Истинный авторитет, а не престиж, моральное влияние, а не административную власть.

Миша менее всего заботился о своем престиже – и это действовало гораздо сильнее, чем если бы он его оберегал. Мы, рядовые комсомольцы, прекрасно понимали, что он образованнее и талантливее нас, но знали и то, что он, образованный, талантливый – наш, весь наш, и мы с ним на равных. Это было равенство не показное, а подлинное, пролетарское, коммунистическое равенство.

6. Мужья и жены в комсомоле

Маруся еще оставалась в Привокзальном районе, когда мы с Рафой уже полностью перешли в газетчики. Она организовала в районе коллектив борьбы за новый быт – Кабэзээнбэ, как это звучало в принятом сокращении. Она ли сама придумала, или где-то вычитала, не помню. По правде, нам не приходило в голову, что физкультура, например, тоже не последний элемент нового быта; физкультурой мы совсем не интересовались тогда.

В Привокзальном Кабэзээнбэ больше напирала на отношения между юношами и девушками – прямое, несколько обновленное продолжение прежнего тезиса: "ты не смотришь на меня, как на товарища". Новое же состояло в том, чтобы, видя в женщине товарища, уважать в ней и собственно женщину – с присущей ей нетерпимостью к грубости, хамству и, в идеальном случае, к нелояльности и обману. Вообще, если вдуматься, женщины, как правило, честнее, правдивее и уж, конечно, добрее мужчин.

В марусином Кабэзээнбэ привлекали к немедленному ответу за матерное ругательство и к особо строгому ответу – за грубое отношение к девушке. Впрочем, ребята ругались редко, даже на работе.

Я более или менее ясно понимаю сегодняшние отношения между мужской и женской молодежью. Не боясь обвинения в стариковском пристрастии к былому, должен сказать: с виду они казались тогда проще, но по существу были строже. Не только в комсомоле, но и вообще среди молодежи. Не стану, подобно многим старикам, приписывать теперешние нравы влиянию моды, Запада, танцев, обеспеченности и т. д. При Сталине ни мод, ни влияния Запада, ни обеспеченности не было, а хулиганство развилось до такой степени, что вскоре после его смерти пришлось издавать строжайшие законы.

За все мои годы в Одессе не слышал я ни об одном происшествии, связанном с хулиганством. А милиции было куда меньше, чем теперь, и образованности меньше, и в литературе еще не было теперешних корифеев, а вот поди ж ты... Наши вечера кончались поздно, но девушка спокойно шла домой до самого глухого переулочка в конце Дальницкой, и никто к ней не приставал. Даже если она шла одна или вдвоем с подругой.

... Все это я рассказываю не для того, чтобы учить внуков, как им обращаться с девушками, а только для того, чтобы приучить их думать над окружающим. Я ухаживал за своей любимой – с точки зрения сегодняшнего юноши – странно: не гулял с ней по улицам, не назначал свиданий у памятников, не водил в кино и в театр. Только в ячейку ЦОМ ходил чаще, чем следовало. Там и словом лишним с нею не перемолвишься – зато наглядишься.

Лишь однажды, когда она переселилась ненадолго в девичье общежитие в нашем Доме рабочей молодежи, я зашел к ней в комнату поздно вечером. В комнате жили три девушки. Деревянные топчаны были сдвинуты, девушки готовились ко сну. Я сел рядом с постелью на стул, и мы заговорили шепотом, чтобы не тревожить подруг. Я зарылся лицом в ее разметавшиеся по подушке волосы и осмелился положить ладонь ей под голову, трепетно коснувшись обнаженного плеча. Она не рассердилась.

Но больше я в общежитие не заходил – то мне было некогда, то ей. Мы ведь общественные работники! А потом она пошла в школу; дальнейшее вы знаете: путь в шесть километров, потом – разрыв.

В то время комсомол был довольно однородным по возрасту – семнадцать, восемнадцать лет. Были, конечно, и старше, и моложе, но в комитеты избирались преимущественно наши сверстники. Мишу Югова избрали в ЦК комсомола Украины в девятнадцать лет. Двадцатилетних среди нас было совсем мало. Рафа и Маруся оказались чуть ли не самыми старшими в Привокзальном районе, во всем районе только они и были женаты. Но влюбленных пар я помню много. С кем из старых комсомольцев Привокзалья ни встречусь, непременно вспом-

ним Шуру Холохоленко с Зиной. Шура был потомственный железнодорожник, слесарь, перенявший профессию отца. Ребята из Январских железнодорожных мастерских никому бы не отдали своего Шуру. Да и весь район его любил, хотя он никогда особенно не выдвигался вперед, даже ораторствовал редко – а мы все любили ораторствовать тогда. Но чувствовались в нем ясный ум, большие способности и глубокая честность.

Его роман с Зиной Забудкиной, как и все наши тогдашние романы, длился долго. Не могу представить себе клуб на Степовой без Шуры и Зины, вместе появлявшихся на пороге клуба, и, вместе уходивших чуть ли не последними: Шура допоздна сидел на заседании райкома, а Зина ждала его, занимаясь в одном из клубных кружков или распевая в зале хоровые песни. Поздно вечером, перерешив все вопросы, влюбленные шли погулять по улицам.

Сама невинность наших романов, это странное при нашей прямолинейности и подчеркнутой грубоватости комсомольское рыцарство рождали в окружающей среде атмосферу дружелюбного покровительства и сочувствия. И девушки безотчетно старались походить на Зину, а юноши – на Шуру.

В Молдаванском районе таким же заметным романом оказался наш с Евой. Маруся, раньше нас зажившая семейной жизнью, видимо, чувствовала себя чем-то вроде посаженной матери и у нас с Евой, и у Шуры с Зиной. Девушки поверяли свои сердечные тайны чаще всего ей – ей, которая, казалось, умеет дружить только с ребятами, ей, Марусе в солдатских штанах. Но "Маруся в штанах" была человеком большой души и чуткости. Над влюбленными она не подшучивала, хотя красивых слов о любви никто от нее не слышал. Даже само слово "любовь" она не произносила – кроме тех случаев, когда читала мне вслух, с глазу на глаз, стихи Пушкина (а читала она отлично, и Пушкин был ее любимым поэтом). Произносить на людях слово "любовь" считалось дурным тоном, я тоже почти не произносил его в молодости – ни всерьез, ни в "Шпильке". А что касается любви к партии или к ее вождю, то в те времена партию любили, не бия себя кулаком в грудь, молча. Девальвацию от слишком частого употребления это понятие (а вместе с ним и самое чувство) потерпело при Сталине.

Любовь, кажется мне до сих пор, вянет от слов, произнесенных на людях. Стесняться даже таких слов, как "брак", "семья", "жениться", "моя жена", "мой муж", было, конечно, наивно. А в чем-то и мудро, и прекрасно. Нам эти слова казались обидными для наших любимых, намекающими на старое семейное рабство женщины. А вот "мы сошлись" для нее не обидно: оба сошлись, оба сделали одинаковый шаг, а не "я женился на ней"! Наивно? Да. Но тут не простое чудачество, не блажь только ребят из одесского Дома рабочей молодежи; это видно из повсеместного обычая тех лет: комсомолки и коммунистки тех лет не меняли свою фамилию на мужнину. И свадьбы, даже самые гражданские, не устраивались. И регистрироваться в ЗАГС далеко не все ходили...

Конечно, оформление брака необходимо. А для какой цели? Чтобы в случае развода можно было взыскать алименты на детей. А почему нужно взыскивать? Потому что уклоняются. Простая цепь рассуждений показывает, что нерегистрация брака есть признак доверия, а ее обязательность – признак падения, а не повышения морали. Закон подпирает нравственность, как костыль. А вы навешиваете на костыль фату, цветы, корзины вина и водки.

Но мы и в самом деле доходили до ригоризма. Например, те же безобидные "мой муж", "моя жена". За много лет ни разу не слышал я, чтобы наши замужние комсомолки произносили "мой муж". Только по фамилии, как о постороннем, и очень редко – по имени, но без притяжательного "мой": Боря, Рафа, но не "мой Боря, мой Рафа". Если Еве случалось произнести слово "муж", она неизменно придавала ему ироническое звучание: "му-уж, объелся груш...".

Мы, мужчины, тоже не говорили: "моя жена". Нам все чудилось нечто буржуазно-собственническое, подлежащее осмеянию и отмене.

А вместе с тем, наши комсомолки терпеть не могли "мотылькового порхания" – оно их оскорбляло. Маруся прямо не выносила тех, кто чересчур свободно менял свои привязанности.

Такой всеми уважаемый парень, как Витя Горелов, не пользовался ее расположением – а все потому, что быстро разженился с одной и женился на другой.

А я? Со мной ведь тоже произошло нечто похожее. Но меня Маруся хорошо понимала, я от нее ничего не таил – и мне, грешному, было даровано высочайшее прощение. Впрочем, ту девушку, из-за которой я охладел к Еве, она невзлюбила сразу, и не она одна. Моя сестра работала тогда ткачихой на джутовой фабрике, знала эту девушку и, кажется, даже дружила с ней. Она мне рассказала:

– После того, как ты с ней разошелся, я как-то разговорилась с Бэлой. Помнишь ее – активистка у нас была? По правде сказать, меня удивило, что ты разошелся с такой симпатичной девушкой. А Ева-то была, не обижайся, совсем некрасивая. Вот это я и высказала Бэле. А она ответила: "Много ты понимаешь! Она мещанка, а Ева – нет. Кто же выше?"

Несмотря на небольшие отклонения вроде моего, наши романы отличались чрезвычайной серьезностью. Вероятно, подспудную, неосознанную роль играл в этом и тот факт, что жили мы на собственные, не на родительские средства. Время было трудное, все мы работали, становясь самостоятельными в очень молодом возрасте. Романы тех, кто надеется только на свои силы, поневоле обычно серьезны. И все-таки, взрослея преждевременно благодаря самостоятельной работе и активным политическим интересам, мы во многом сохраняли простодушие детей, что накладывало свою печать на нашу манеру влюбляться, ухаживать, ссориться и мириться.

Во всяком случае, я почти не помню у нас драматических ситуаций, возникающих обычно в молодых семьях, как расплата за легкомыслие.

7. Немного о словечках эпохи

В словечках эпохи отражен ее дух, они красноречивей иных длинных лекций. Я уже упоминал выражение: "мы сошлись". Вместо абсолютно непроезжих "я вышла замуж" или "я женился" в этом "мы сошлись" аккумулировалось характерное для эпохи чувство равенства полов и вызов буржуазной морали. Да, мы сошлись и не регистрировались, мы живем вместе, но без права собственности друг на друга – мы не такие, как вы.

И хотя мы всего только сошлись, но через полгода мы не разошлись, и через два года не разошлись, и через двадцать тоже.

Слова, рожденные временем, нередко переживают его, и тогда от них остается только звук, только оболочка, а содержание, значение у них уже другое и, случается, противоположное.

Одинаковость наших мнений – пусть и самых правильных! – привела к тому, что сознание наше стало застывать от недостаточности обмена.

Отсюда – один шаг до создания стереотипов мышления потому, что глубина наших знаний была далека от твердости убеждений. Уже наше "гнилой интеллигент" было близко к стереотипу и, сами того не замечая, мы подводили под него такие явления, изучить которые не хватало ни сил, ни охоты.

Краткость и выразительность готовых формул соблазняет нас кажущейся точностью – и вот мы уже готовы подставлять их куда надо и не надо. Мыслить целыми умственными блоками легче, чем рассуждать и умозаключать самостоятельно: человеческая мысль постоянно оперирует понятиями, в которых заключен готовый логический блок. При Сталине производство мыслительных блоков было централизовано, ему был придан государственный характер, подобно печатанию денежных знаков. Заводы мыслительных блоков, постоянно совершенствуя свою продукцию, с течением времени стали выпускать уже не блоки, а крупные мыслительные панели – их изобрели в нашей стране куда раньше, чем бетонные панели, из которых строятся теперь наши дома. Мыслительная бетонная панель, надежно армированная сталинскими "во-первых", "во-вторых" и "в-третьих", мгновенно повысила производительность труда сталинских теоретиков: поставил с десяток железобетонных панелей – и готов идейно-теоретический этаж.

Крупнопанельное мышление, возникшее на базе освоения стереотипов, естественно вызывает потребность в расширении производства готовых понятий, рационализирующих и вытесняющих сложный процесс познания. Так возникли и были пущены в оборот слова-формулы: "подкулачник", "вредительство", "неверие", "идейно-политический уровень", "сияющие вершины", "уравниловка", "безродные космополиты" и многие-многие другие. Такие формулы обычно фабрикуются из одного-двух слов, в которые введены, однако, целые комплексы понятий – введены чаще всего насильно.

И результат блестящий: все мыслят, и все мыслят одинаково. Но одинаково – слишком откровенное слово, и для его маскировки изготавливается особая цельнолитая формула: морально-политическое единство. Идеологические панели обладают всеми качествами мировых стандартов: надежностью, простотой конструкции и долговечностью. Иные прямо бессмертны.

Вот почти бессмертная панель: вредительство. В умах нескольких поколений возвращено убеждение насчет колорадского жука, бактерий, ядохимикатов и прочих ужасов, рассеиваемых в мирное время с самолетов или руками наемных агентов американского империализма.

В прошлом году, накануне пятидесятилетия Октября, я слышал широко распространенную на Северном Кавказе историю о сброшенном с вертолета вблизи города Орджоникидзе таинственном чемодане, набитом деньгами пополам со склянками отравляющих веществ.

Некий тракторист нашел этот чемодан, но тут на сцену явился врач (некоторые уточняли: профессор!) и убил тракториста. Разумеется, профессор был тут же арестован и разоблачен.

Кто распространял эту историю, припахивающую тем же ароматом, что и сталинское "дело" кремлевских врачей?¹⁵ Я спросил рассказчика, откуда он это взял – ведь в газетах об этом нет ни слова. Он ответил: "Не сомневайся, все правда. Я слыхал от одного, который работает в органах. Уж он-то не соврет!" И я успокоился: уж он-то не соврет!

Еще формула, ушедшая в небытие, но оставившая прочный след: уравниловка. Десятилетиями внушали трудящимся, что немыслимый при Ленине разрыв между зарплатой министра и ткачихи вполне отвечает формуле социализма: "каждому по труду", а если этот разрыв уменьшить, то получится уравниловка. Словечко ушло, выполнив свою функцию, но разрыв-то остался! А это один из коренных вопросов построения справедливого общества, мерило его справедливости.

В статье лондонского корреспондента "Правды" я прочитал как-то (30-го ноября 1966) строки из воззвания Мидлендского комитета английской компартии. В воззвании говорилось: "Министры, получающие пять тысяч фунтов в год, банкиры, предприниматели и экономисты из газет призывают рабочих к жертвам..." Я перевел жалование английского буржуазного министра на советские деньги по официальному курсу. Получилось тысяча рублей в месяц; такое министерское жалование нас не удивит. Сравнить зарплату нашего рабочего и нашего министра мы не можем – у нас зарплата министров держится в секрете. И даже, если бы у нас опубликовали цифры зарплаты министра, это бы все равно не дало нам понятия об их, министров, истинных доходах – ведь кроме зарплаты у них есть уйма существенных и весьма ощутимых привилегий. Во всяком случае, будь английский разрыв больше нашего, уж газета сказала бы об этом полным голосом.

Чтобы по-настоящему почувствовать, как важно для рабочего это хорошо замалчиваемое дело, надо самому поработать на производстве. И не в далекой молодости, как некоторые из тех, кто любит разъяснять трудящимся экономику социализма, а в зрелом возрасте, когда за твоей спиной нет родителей, готовых тебя подкормить, а есть дети, которых должен кормить ты. Семейные рабочие (особенно женщины) отлично чувствуют фальшь произвольно толкуемой формулы "по труду". Чем, в самом деле, можно доказать, что труд, скажем, начальника отдела кадров весомее, чем труд токаря или ткачихи? Ничем – кроме безапелляционного утверждения, что выравнивание их зарплат – уравниловка. А уравниловка – слово страшное.

Кроме страшных слов, употребляются еще и возвышенные. У тех и других общее назначение: их следует вбивать в мозги. Склонные в молодости к высокому, мы начали с патетических выражений: гидра контрреволюции, пламенный привет, зубами грызть гранит науки. К страшному мы пришли позже, и оказалось, что одно может прямо и непосредственно вытекать из другого. Умело смешав в надлежащей пропорции возвышенное и страшное, отравители человеческих душ получают сильнодействующее воспитательное зелье.

* * *

... Со дней моей юности прошло почти тридцать лет. В 1950 году я сидел в лагере. В круглом бараке площадью в сорок метров помещалось сорок человек. Мы называли барак юртой. В центре юрты висел репродуктор, воспитывавший нас в духе любви к вождю.

¹⁵ "Дело врачей" – 1952 год – последний инсценированный Сталиным процесс девяти кремлевских врачей (шестеро из них – евреи). Врачи были арестованы по обвинению в подготовке покушения на Сталина и др. государственных деятелей. Этот процесс вызвал небывалый по своим масштабам взрыв антисемитизма в СССР. Только смерть Сталина спасла арестованных от казни. (Кажется, двое из них умерли в тюрьме). Врач Лидия Тимашук, якобы вскрывшая заговор и награжденная за это, была лишена ордена и позже погибла в автокатастрофе.

Утро начиналось с рапорта ему: какой-нибудь колхоз или завод рапортовал о достижениях, беря на себя повышенные обязательства на базе выявленных резервов. Затем целый день шло склонение обожаемого имени во всех падежах со всеми положенными эпитетами: великий, мудрый, гениальный, светоч, любимый, горячо любимый. Список наиболее употребительных в этом контексте слов не богаче, пожалуй, лексикона Элочки-людоедки из знаменитого романа Ильфа и Петрова.

Большинство невольных жителей юрты привыкло. Но я не мог. К счастью, мы ни о чем хорошем отрапортовать не сумели, и нас перевели в Бутырскую тюрьму. Там тоже газет не давали, и я долго был лишен удовольствия читать "Поток приветствий". Так называлась многолетняя рубрика в "Правде" – бесконечный список организаций, приславших приветствия Сталину ко дню его семидесятилетия. Эта рубрика, занимавшая 22 столбца, печаталась изо дня в день в течение свыше трех лет. Сейте разумное, доброе, вечное! Метранпаж спросит у выпускающего:

– Сколько строк "Потока" сегодня верстаем?

И выпускающий, заглянув в макет, отвечает:

– Двести шестьдесят. (Сейте разумное!)

Во время этого разговора ни тот, ни другой не смеют улыбнуться. Это агитация. За нее можно отхватить пять лет. (Сейте доброе!)

Метранпаж ловко снимает с талера строки набора. (Сейте вечное!)

А мы именно вечное собирались сеять, верстая первый номер "Молодой гвардии". Не имели мы ни современных ротационных машин, ни готового набора с приветствиями. Свой первый номер мы печатали на ручной плоскочечатной машине. Рукоятку крутили поочередно редактор, три сотрудника и метранпаж. Мы сеяли разумное вручную.

Намереваясь разоблачить все зло мира, мы начали с хорошего дела: в первом же номере разоблачили подрядчика-нэпмана, который нанимал детей для чистки паровых котлов. Детям ловчее пролезть в топку, и он заставлял их лезть, не дожидаясь, пока она остынет.

Защита молодых рабочих от эксплуатации была при НЭПе важным делом, и занимался им экономически-правовой отдел губкома комсомола, которым заведовал Витя Горелов.¹⁶ Он добился суда над нэпманом-эксплуататором.

О Вите Горелове меня настойчиво спрашивали следователи Ежова¹⁷ и Берии. Их интересовала не его подпольная деятельность при Деникине и не то, как отважно он сражался в рядах Красной армии. И история его расстрела не интересовала их – а это была не такая уж дюжинная история. Витя был расстрелян махновцами вместе с группой красноармейцев. Но его не достреляли. Потеряв много крови, он очнулся, вылез из-под трупов и почти ползком добрался до ближайшего села. Крестьяне подобрали его и выходили. У него оказалось восемнадцать ран – но он выжил. Историю эту я слышал от других: Витя не любил рассказывать о себе.

В 1923 году, в честь двадцатилетия ВКП(б), одесский комсомол передал в подарок партии пятьдесят комсомольцев – ребят и девочек. В виде исключения нас сразу утвердили действительными членами партии, без прохождения кандидатского стажа. Требовались две рекомендации: одна – от губкома комсомола, вторая – от старого члена РКП(б). Витя подписал мою анкету: он был коммунистом с подпольным стажем.

Прошло тринадцать лет: роковое число. В годовщину моего приема в партию я был арестован за слишком тесную дружбу с Витей, Марусей, Мишей Юговым. Что ж, если я имею право гордиться чем-нибудь, то прежде всего – дружбой с ними.

Где ты похоронен после второго расстрела, Витя Горелов?

¹⁶ Виктор Горелов – дополнительные сведения: в годы своей работы в одесском подполье занимался добычей оружия на складах гетманской варты (войска Центральной Рады) – см. "В двух подпольях", стр. 54.

¹⁷ Ежов Н.И. см.: http://www.hrono.ru/biograf/bio_yc/ezhov_ni.php#4

Тетрадь вторая

*"Жизнь посвящает очень немногих
в то, что она делает с ними".*

Б. Пастернак, "Детство Люверс".

8. Было – и стало

О молодежи первых лет революции написаны книги, вошедшие в советскую классику. В умах наших детей и внуков сложился хрестоматийный образ деда и бабушки. Одну бабушку я встретил после тридцати семи лет разлуки. По голосу, по смеху и даже по наружности в ней еще можно было угадать прежнюю веселую Верочку. Сестра ее, Маруся, погибла в 1937-ом. Брат тоже погиб, а муж подвергался репрессиям только за то, что свояченица, которую он еле знал, оказалась неугодной властям.

Сама Вера вступила в партию лет тридцать пять назад – я ее знал только комсомолкой. Всю жизнь трудилась она у станка и обо всем судит трезво и здраво с чисто рабочей точки зрения. Она хорошо знает, что творилось в стране в тридцатые годы: сама бегала по прокуратурам Ленинграда, вызволяя мужа из рук ежовских следователей. И вызволила-таки. И знакомые, встречая его на улицах, удивлялись:

– Как, ты еще жив?

В Ленинграде уже тогда народу было известно кое-что. И Вера с той поры знает многое. Но она считает, что в несчастьях всей семьи виновата только сестра. Не проголосуй она против Сталина, ее бы не преследовали, и брат остался жив.

Вера почти не поддерживала связь с сестрой. Два года продержала у себя ее ребенка, совсем крохотного – вот и вся связь. Сестры даже не переписывались; брат – тоже. Тем не менее, только Маруся всему виной – Вера убеждена в этом. Не надо было навлекать пулю на себя – не подвела бы и родственников. Но ведь "там" погибли десятки тысяч (разговаривая с Верой, я еще не знал, что число нулей справа надо увеличить) таких, которые голосовали "за".

Но мой довод не действует. Она просит меня не называть их фамилию. А вдруг мои воспоминания когда-нибудь напечатают?

– Ну и что же тогда, Верочка? Боишься?

– Да не хочу я, чтобы наша фамилия фигурировала. Мало ли что! Мне-то ничего, я старая, но у меня дочери.

– Что же твои дочери?

– Мало ли что!

Хорошо, я уступаю желанию Веры. Я не заподозрю ее в измене тому, чему мы посвятили свою молодость. Мне лишь хочется понять, как сложилась такая психология.

Наш разговор происходил как раз в день десятой годовщины со дня похорон Сталина. Его набальзамированный труп уже успели вынести из мавзолея. А Вера упрямо твердила: "Мало ли что!"

Вера назвала меня романтиком и – что греха таить? – оказалась права. Она мало ценит слова и больше всего почитает труд. И в этом она права. Но как это все уживается рядом: труд и – кто виноват, и – мало ли что? Каким путем пришла хрестоматийная комсомолка двадцатых годов к своим сегодняшним понятиям о вреде высказывания вслух?

* * *

Подписывая мою партийную анкету весной 1923 года, Витя Горелов не мог определить мое будущее. Но он надеялся, что я не обману доверия своего поручителя.

Жизнь шла своим чередом. Мы крутили колесо плоскопечатной машины, и с нее сходили очередные листы "Молодой гвардии". К джутовой фабрике теперь ходил трамвай. Фабрика расширялась. Секретарем ячейки выбрали Володю Маринина, одного из лучших наших ребят. Секретарем Привокзального райкома стал Шура Холохоленко, милый, всеми любимый Шура. Настоящий интеллигент из пролетарской среды, он рос очень быстро. Спустя несколько лет Шура перешел на партийную работу; 1937 год застал его в Донбассе, в обкоме партии. Там его и арестовали – и расстреляли. Были репрессированы все, кто работал с ним – одних посадили, других расстреляли.

Володя Маринин погиб в том же проклятом тридцать седьмом. Он жил тогда в Клину, работал директором ткацкой фабрики. На партийном собрании кто-то поднялся и заявил: ему известно, что Маринин – скрытый троцкист. Ужас обуял присутствующих. Не стали проверять, даже Маринина не выслушали. Торопились засвидетельствовать свою благонадежность, один за другим выступали и клеймили. Тут же на собрании его исключили из партии, в тот же день отстранили от должности. Дня три он провел дома, томясь неизвестностью, и наконец, сказал жене:

– Я уверен, что в моем деле уже разобрались. Пойду, узнаю.

Они пошли вдвоем – не в партийный комитет, а туда, где, как он полагал, разбирался его вопрос.

– Подожди меня на улице, дело, наверно, недолгое.

Она ждала девятнадцать лет, пока ей сообщили, что дела, собственно, никакого не было, муж ее реабилитирован, но в живых его нет.

Одновременно с Марининым арестовали почти всех ведущих хозяйственников города. Их тоже реабилитировали посмертно.

Володя Маринин, Шура Холохоленко и еще несколько ребят и девушек составляли, я бы сказал, ядро Привокзального райкома комсомола. Володя, очень способный юноша, был моложе всех нас, молодых. Любознательный, много читавший, он подавал большие надежды. Комсомол тогда не был особенно многочисленным (в районе насчитывалось человек четырехста-пятьсот) и губком знал, конечно, почти всех – особенно тех, кто чем-то выделялся. Володю и Шуру знали – что тут плохого? – их ценили, позже послали учиться. Они учились и раньше – не в заочных вузах, которых тогда еще не было, а дома, в клубе. Это были растущие рабочие парни, наделенные тем видом интеллигентности, какой позже один из моих товарищей назвал "народническим".

* * *

Я уже рассказывал о некоторой разнице в обычаях двух комсомольских районов, где я поочередно работал. Этому кое-чему мы тогда не придавали значения, но оно оказалось важным для истории. Точнее, для историков. Им не все нравится из того, что было. А раз не нравится историкам – значит, этого и не было...

Дело в том, что в одесском комсомоле тогда было много евреев. Особенно в Молдаванском районе – он почти сплошь состоял из евреев. Пересыпский – наполовину. В Привокзальном же я и десятка бы не насчитал. Но кто тогда об этом думал, кто интересовался подсчетом?

Мы не избегали слова "еврей", не замалчивали его. Мы просто мало нуждались в нем – как, впрочем, и в слове "русский", употреблявшемся больше в качестве эпитета: например,

кружок по изучению русской литературы. Правда, в губкоме имелась секция по работе среди еврейской молодежи, сокращенно – "евсекция". Мне долго не приходило в голову, как это звучит полностью.

Вот на моем столе комсомольский билет того времени. Год выдачи – 1921. На первых двух страницах – чуть не целая анкета: "Фамилия, имя и отчество; год рождения; социальное положение; образование; родной язык; на каких языках еще говорит; какие специальности знает; военная подготовка; семейное положение; живет ли в семье; число членов семьи, состоящих на иждивении; время вступления в КСМ; член ли РКП(б), если да, то с какого года." Подробнейшая анкета – а одного вопроса нет – того самого, который имеется сегодня в паспорте каждого советского гражданина – национальность.

Каждая строка старого комсомольского билета говорит о многом. И та, которой в нем нет, говорит не меньше.

* * *

Рассказ о Верочке и старом билете заставил меня перенестись из двадцатых годов в сегодняшний день. Недавно я съездил в Одессу.

Полдень. Стою на углу улиц Карла Маркса и Жуковской. Одесские акации цветут, как тогда, когда я был молод. Сердце сжалось. Сорок лет прошло. Сорок революционных лет...

Бывший Дом рабочей молодежи снаружи изменился мало. Разве что нет теперь на тротуаре той чугунной скамейки, на которой мы сиживали с Марусей в дневные часы, перед тем, как идти в клуб. "Помню, я еще молодухой была..." Она пела мне эту песню... Дом чуть постарел, но пять его этажей по-прежнему внушительны. Ступени лестниц повыкрошены, двери квартир обшарпанные и грязные. Вот и заветная дверь.

Стучу – звонков нет, как не было их и в мое время. Появляется коренастый парень в тельняшке. Сердито спрашивает, кого надо. Я объясняю: хотел бы видеть кого-нибудь, живущего здесь с довоенных времен.

– Таких нет! – еще сердитее отвечает парень и закрывает дверь.

Все же некоторых удалось найти. Мне рассказали несколько историй. Парень в тельняшке, проживающий в бывшей квартире Эммы с Борей, служит на торговом корабле, часто бывает за границей, привозит барахлишко. Ясно, почему он не жалуется незнакомых мужчин.

В комнате налево – ее занимал Миша Югов до того, как женился, – сейчас живут две сестры одного из моих погибших друзей. Одна работала после войны управдомом, попала на каких-то махинациях, ее судили. Вторая тоже служила кассиршей и проворовалась.

Справа, окнами во двор – комната, в которой я когда-то жил вместе с Рафой и Костей Гребенкиным. В 1937 году ее занимал работник прокуратуры Турин. В поисках врагов народа добрались и до него. Работники правосудия чаще всего попадали в разряд врагов народа за "либерализм", ненавистный Сталину. Если прокурор жалеет людей или слишком часто заглядывает в Конституцию СССР – он либерал. Турина вызвали на заседание бюро обкома, обвинили в троцкизме и исключили из партии. Он отлично знал, что будет с ним завтра, и, придя домой, повесился. В квартире установили бессменное дежурство, но жена Турина, понимавшая, надо полагать, что и ее ждет арест, сумела обмануть бдительность дежурного и тоже повесилась, запершись в уборной.

Теперь в этой комнате живет семья рабочего. Они слышали что-то о двойном самоубийстве, но причинами не интересовались, полагая, что тут была бытовая драма. И в самом деле, разве ожидание ареста не стало в то время бытовым явлением в среде коммунистов? В 1935 году на Украине насчитывалось 453 тысячи коммунистов, а в 1938 – только 285 тысяч. Куда девалось тридцать семь процентов организации? Куда исчезли 168 тысяч членов партии?

Быть исключенным из партии и не арестованным – такого тогда почти не бывало. Самому выйти из партии – означало возбудить подозрение, а от подозрения до ареста при Сталине было полшага, если не меньше. Тени арестованных, расстрелянных и покончивших с собой, витают в комнатах бывшего Дома рабочей молодежи на углу улиц Карла Маркса и Жуковской.

Побывал я и в комнате, где когда-то жил Витя Горелов. Ее занимает одинокая женщина, пенсионерка, член партии. В ее семье – двое пострадавших от рук Сталина.

И напоследок подхожу к самой памятной мне двери. Она заперта.

В мое время эта дверь не запиралась вовсе. Жалкий крючок символически придерживал ее, но замок не действовал. Многие двери в нашем общежитии не запирались, и ключей в наших карманах не водилось. Имущество-то наше какое было? Кто позарился бы на старую зеленую шинель Рафы? Не запирались и комнаты товарищей, у которых на гвозде висела, скажем, кожаная куртка – по тем временам большое богатство. Не таков был комендант общежития Марков, чтобы возиться с ключами. Он охранял нас с парабеллумом на поясе. Марков был мал ростом, а огромная деревянная кобура парабеллума делала его еще меньше. Он вихрем носился по лестницам, прыгая через три ступеньки. Выющийся белокурый кавалерийский чуб червонно-казацкого примаковского происхождения выбивался из-под фуражки с красным околышем, а кобура была по бедру...

После Маркова комендантом стал Фасолька – веселый прыщавый парень; пистолета он не носил, а в кармане его лежала связка ключей – от служебных помещений. Ключи для жильцов он тоже считал недостойной мелочью.

Может, на двери чудом сохранились две фамилии, написанные химическим карандашом? Нет, здесь чудес не жди. Много раз перекрашивалась за сорок лет эта дверь, из которой явственно тянет ароматом духов. Кто же теперь живет в этой комнате?

Во времена гитлеровской оккупации сюда вселили молодую женщину. Она привезла с собой порядочную мебелишку, объяснив любопытным, что мебель конфискована у жидов. Новая жилища состояла в приятном знакомстве с видным полицаем. Он частенько навещал ее, приносил то да се и оставался ночевать. После войны полиция поймали и осудили. Она прямого участия в его деятельности не принимала, ее не судили. Мебель же, украденная у каких-то эвакуированных или убитых жидов, это такая мелочь, о которой не стоило и говорить. Мебель и комната остались за ней. Теперь она работает в какой-то проектной конторе; комната же заперта потому, что хозяйка уехала по путевке в санаторий – забота о человеке превыше всего.

Посмотрю на окно хотя бы снаружи. Вот оно, третье слева над парадной дверью. Сколько раз я кричал, подойдя утром к дому:

– Эй, Рафа, Маруся, сонные тетери, встали?

И Маруся выглядывала в балконную дверь:

– Подожди, сейчас спустимся...

Сорок лет прошло. Сорок лет! И следа нигде не осталось от Маруси и Рафы – ни в далекой тундре, ни здесь, в бывшем Доме рабочей молодежи.

9. Семья одесского портного

Полный раскаяния и воскресшей любви, писал я Еве в Херсон длиннейшие послания. И она приехала. В нашем районе прибавилась еще одна комсомольская семья.

Мы жили в Евиной семье, на Тираспольской. Семья была большая и шумная. Младшей сестренке едва исполнилось семь лет, двое братишек учились в еврейской ремесленной школе "Труд". Позже, году в сороковом, еврейские школы в нашей стране были ликвидированы: преподавать стали на русском, украинском и других языках – вероятно, по просьбе трудящихся.

Старшие братья Евы,¹⁸ женатые, оба члены партии с первых дней февральской революции – жили отдельно. В семье оставался средний, Моисей, самый, на мой взгляд, любопытный малый в семье. В детстве ему на молотилке оторвало ногу до колена. Зато у него были изумительные руки, настоящий талант умельца. Он умел сделать все, как те русские умельцы, о которых мы читали в детстве в хрестоматии, как лесковский "Левша".

– Вы, евреи, не любите физического труда, вам бы только стоять за прилавком! – не раз говорил мне в 1950 году спавший рядом со мной на лагерных нарах Иван Матвеевич Чернусов. Недавний член коммунистической партии, посаженный по ложному доносу, он освободился потом досрочно, но без права выезда из Воркуты. Избавившись от лопаты и кирки, этот адвокат физического труда нашел себе более подходящую и доходную работу: он поступил продавцом в ларек, обслуживающий женский лагерь.

Заклученные женщины выполняли тяжелые физические работы. После тяжелого трудового дня женщины-землекопы приходили в ларек купить на свои жалкие гроши горсть леденцов к чаю. За прилавком стоял молодой, разевшийся около своих товаров мужик.

Вот этот-то Иван Матвеевич однажды красочно расписал мне свои чувства:

– Когда я читаю или слышу о евреях, то всегда вспоминаю описание варшавских еврейских улиц в "Тарасе Бульбе"... Грязные, вонючие, залитые помоями...

И он с отвращением поморщился, этот эстет. А я вспоминаю другое. Иногда – описания тех же самых улиц после подавления гитлеровцами восстания в варшавском гетто – улиц, залитых кровью восставших евреев. И недаром Польша поставила памятник героям восстания, а имя Мордехая Анелевича¹⁹ известно всему свету. Только у нас о нем не знают – что вы читали о борцах варшавского гетто?

И еще я вспоминаю геббельсовский журнал "Расенполитик" – "Расовая политика". Он попался мне на глаза, когда я служил в советских оккупационных войсках в Германии. На отличной меловой бумаге, с фотографиями. Про евреев там говорилось так здорово, что Иван Матвеевич мог бы позавидовать. Там, например, я прочел о врожденной германской чистоплотности. Оказывается, их любовь к чистоте значительно древнее победы Арминия в Тевтобургском лесу, от коего события германцы ведут свою славную историю. По Арминию вши не ползали, они гибли от одного аромата его кожи. Чистоплотности немцев ученый фашист противопоставлял врожденную нечистоплотность семитов и... славян. Последнее утверждение, вероятно, умерило бы до некоторой степени пыл Ивана Матвеевича, если бы он мог прочесть "Расенполитик"; в статье говорилось, что после уничтожения евреев (для научности оно называлось "окончательным решением еврейского вопроса") самой нечистоплотной расой оста-

¹⁸ Старшие братья Евы – Швальбе Ф.П. (1897–1962) занимался партийной деятельностью и в Москве; какое-то время был секретарем Каменева; в последний раз был арестован в 1950 году; реабилитирован в 1956-м. Швальбе М.П. (1901–1967) активный член партии; кажется, работал и в ЧК; арестован в 1936; после освобождения "задержан" в Воркуте; реабилитирован в 1956 (?). Жена покончила с собой в ссылке.

¹⁹ Мордехай Анелевич (1919–1943) – командир повстанцев Варшавского гетто во время немецкой оккупации. В память о нем на юге Израиля основан кибуц Яд Мордехай.

нутя славяне и особенно – русские. Но наш эстет, к счастью, не знал немецкого языка и мог спокойно оставаться на своей, не вполне научной позиции.²⁰

Я бы не стал заниматься Черноусовым, если бы не слышал недоуменного вопроса от других, более порядочных людей:

– Почему же все-таки столько евреев в Одессе (только в Одессе?) торгуют?

Те юноши и девушки с еврейской Молдаванки, среди которых прошла моя молодость, не торговали ни галантереей, ни совестью. И друзей своих они не продавали. И никто им не указывал на их еврейство, как на некую стыдную болезнь.

Никто, кроме белогвардейцев, в те годы не считал позорным для русской революции факт непропорционального участия в ней евреев; эта непропорциональность существовала в среде социал-демократических партий России, Польши, Литвы, и Ленин отзывался об этом явлении с одобрением – нелишне в связи с этим вспомнить состав Политбюро ЦК при его жизни.

²⁰ Подробнее об антисемитизме см. "Русские евреи вчера и сегодня" и "Новое в антисемитизме" – Библиотека Алия, № 20,68, автор И.Домальский (один из псевдонимов М.Байтальского).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.